„Гроб 49“

П. КРОПОТКИНЪ.

НРАВСТВЕННЫЯ НАЧАЛА АНАРХИЗМА.

Изданіе
листковъ „ХЛѢБЪ И ВОЛЯ“
№ 5.

ЛОНДОНЪ 1907

Этотъ очеркъ былъ сперва написанъ, въ 1890 году, по французски, подъ заглавіемъ Morale Anarchiste, для нашей парижской газеты, La Révolte, и изданъ затѣмъ брошюрою. Предлагаемый переводъ, тщательно сдѣланный и провѣренный, слѣдуетъ считать *русскимъ текстомъ* этого очерка.

П. К.

1907.

191
29.

„Пров 46“

НРАВСТВЕННЫЯ НАЧАЛА АНАРХИЗМА.

I.

Исторія человѣческой мысли напоминаетъ собою качанія маятника. Только каждое изъ этихъ качаній продолжается цѣлые вѣка. Мысль то дремлетъ и застываетъ, то снова пробуждается послѣ долгаго сна. Тогда, она сбрасываетъ съ себя цѣпи, которыми опутывали ее всѣ, заинтересованные въ этомъ — правители, законники, духовенство. Она рветъ свои путы. Она подвергаетъ строгой критикѣ все, чему ее учили, и разоблачаетъ предразсудки, религіозные, юридическіе и общественные, среди которыхъ прозябала до тѣхъ поръ. Она открываетъ изслѣдованію новые пути, обогащаетъ наше знаніе непредвидѣнными открытіями, создаетъ новыя науки.

Но исконные враги свободной человѣческой мысли — правитель, законникъ, жрецъ, — скоро оправляются отъ пораженія. Мало по малу они начинаютъ собирать свои, разсѣянныя было силы; они подновляютъ свои религіи и свои своды законовъ, приспособляя ихъ къ нѣкоторымъ

современнымъ потребностямъ. И, пользуясь тѣмъ рабствомъ характеровъ и мысли, которое они сами же воспитали, пользуясь временною дезорганизаціею общества, потребностью отдыха у однихъ, жаждою обогащенія у другихъ и обманутыми надеждами третьихъ — особенно, обманутыми надеждами, — они потихоньку снова берутся за свою старую работу, прежде всего овладѣвая воспитаніемъ дѣтей и юношества.

Дѣтскій умъ слабъ, его такъ легко покорить при помощи страха: такъ они и поступаютъ. Они запугиваютъ ребенка, и тогда говорятъ ему объ адѣ: рисуютъ передъ нимъ всѣ муки грѣшника въ загробной жизни, всю месть божества, не знающаго пощады. А тутъ же, они кстати разскажутъ объ ужасахъ Революціи, воспользуются какимъ нибудь случившимся звѣрствомъ, чтобы вселить въ ребенка ужасъ передъ революціею и сдѣлать изъ него будущаго „защитника порядка“. Священникъ пріучаетъ его къ мысли о *законѣ*, чтобы лучше подчинить его „божественному закону“, а законникъ говоритъ о законѣ божественномъ, чтобы лучше подчинить закону уголовному. И понемногу мысль слѣдующаго поколѣнія принимаетъ религіозный оттѣнокъ, оттѣнокъ раболѣпія и властованія — властованіе и раболѣпіе всегда идутъ рука объ руку — и въ людяхъ развивается привычка къ подчиненности, такъ хорошо знакомая намъ среди нашихъ современниковъ.

Во время такихъ періодовъ застоя и дремоты мысли, мало говорятъ вообще о нравственныхъ вопросахъ. Мѣсто нравственности заступаетъ религіозная рутина и лицемѣріе „законности“. Въ критику не вдаются, а больше живутъ по привычкѣ, слѣдуя преданію, больше держатся равнодушія. Никто не ратуетъ, ни за, ни противъ ходячей нравственности. Всякій старается, худо-ли, хорошо-ли подладить внѣшній обликъ своихъ поступковъ къ наружно-признаваемымъ нравственнымъ началамъ. И нравственный уровень общества падаетъ все ниже и ниже. Общество доходитъ до нравственности римлянъ во вре-

мена распаденія ихъ имперіи, или французскаго „высшаго“ общества передъ революціею и современной разлагающейся буржуазіи.

Все что было хорошаго, великаго, великодушнаго въ человѣкѣ, притупляется мало по-малу, ржавѣетъ, какъ ржавѣетъ ножъ безъ употребленія. Ложь становится добродѣтелью; подличанье — обязанностью. Нажиться, пожить всласть, растратить куда-бы то ни было свой разумъ, свой огонекъ, свои силы, становится цѣлью жизни для зажиточныхъ классовъ, а вслѣдъ за ними и у массы бѣдныхъ, которыхъ идеалъ — казаться людьми средняго сословія.....

Но, мало по малу, развратъ и разложеніе правящихъ классовъ — чиновниковъ, судейскихъ, духовенства и богатыхъ людей вообще — становятся столь возмутительными, что въ обществѣ начинается новое, обратное качаніе маятника. Молодежь освобождается отъ старыхъ путъ, выбрасываетъ за бортъ свои предразсудки; критика возрождается. Происходитъ пробужденіе мысли— сперва у немногихъ, но постепенно оно захватываетъ все большій и большій кругъ людей. Начинается движеніе, проявляется революціонное настроеніе.

И тогда, всякій разъ, снова подымается вопросъ о нравственности. — „Съ какой стати буду я держаться этой лицемѣрной нравственности?“ спрашиваетъ себя умъ, освобождающійся отъ страха, внушеннаго религіею. — „Съ какой стати какая бы то ни было нравственность должна быть обязательна?“.

И люди стараются тогда объяснить себѣ нравственное чувство, встрѣчаемое ими у человѣка на каждомъ шагу, и до сихъ поръ необъясненное, — необъясненное потому, что оно все еще считается особенностью человѣческой природы, тогда какъ для объясненія его нужно вернуться къ природѣ: къ животнымъ, къ растеніямъ, къ скаламъ....

И, что всего поразительнѣе, — чѣмъ больше люди подрываютъ основы ходячей нравственности (или, вѣрнѣе,

лицемѣрія, заступающаго мѣсто нравственности), тѣмъ выше подымается нравственный уровень общества: именно въ тѣ годы, когда больше всего критикуютъ и отрицаютъ нравственное чувство, оно дѣлаетъ самые быстрые свои успѣхи; оно ростетъ, возвышается, утончается.

Это очень хорошо было видно въ восемнадцатомъ вѣкѣ. Уже въ 1723-мъ году, Мандевиль — авторъ анонимно изданной „Басни о пчелахъ“ — приводилъ въ ужасъ правовѣрную Англію своею баснею и толкованіями къ ней, въ которыхъ онъ безпощадно нападалъ на все общественное лицемѣріе, извѣстное подъ именемъ „общественной нравственности“. Онъ показывалъ, что такъ-называемые нравственные обычаи общества — ни что иное, какъ лицемѣрно надѣваемая маска, и что страсти, которыя хотятъ „покорить“ при помощи ходячей нравственности, принимаютъ только, вслѣдствіе этого, другое, худшее направленіе. Подобно Фурье, писавшему почти сто лѣтъ позже, Мандевиль требовалъ свободнаго проявленія страстей, безъ чего онѣ становятся пороками: и, платя дань тогдашнему недостатку познаній въ зоологіи, т. е. упуская изъ вида нравственность у животныхъ, онъ объяснялъ нравственныя понятія въ человѣчествѣ исключительно ловкимъ воспитаніемъ: дѣтей — ихъ родителями, и всего общества — правящими классами.

Вспомнимъ также могучую, смѣлую критику нравственныхъ понятій, которую произвели въ серединѣ и концѣ восемнадцатаго вѣка шотландскіе философы и французскіе энциклопедисты, и напомнимъ, на какую высоту они поставили въ своихъ трудахъ нравственность вообще. Вспомнимъ также тѣхъ, кого называли „анархистами“ въ 1793 году, во время великой французской революціи и спросимъ, — у кого нравственное чувство достигало большей высоты: у законниковъ-ли, у защитниковъ-ли стараго порядка, говорившихъ о подчиненіи волѣ Верховнаго Существа, или же у атеистовъ, отрицавшихъ обязательность и верховную санкцію нравственности, и тѣмъ

не менѣе шедшихъ, въ то же время, на смерть во имя равенства и свободы человѣчества?

„Что обязываетъ человѣка быть нравственнымъ?“ — Вотъ, стало быть, вопросъ, который ставили себѣ раціоналисты двѣнадцатаго вѣка, философы шестнадцатаго, философы и революціонеры восемнадцатаго вѣка. Позднѣе, тотъ же вопросъ возникъ передъ англійскими утилитаристами (Бентамомъ и Миллемъ), передъ нѣмецкими матеріалистами, какъ Бюхнеръ, передъ русскими нигилистами шестидесятыхъ годовъ, передъ молодымъ основателемъ анархической этики (науки объ общественной нравственности), Гюйо, который, къ несчастью, умеръ такъ рано. И тотъ же вопросъ ставятъ себѣ теперь анархисты.

Въ самомъ дѣлѣ — что?

Въ шестидесятыхъ годахъ, этотъ самый вопросъ страстно волновалъ русскую молодежь. — „Я становлюсь безнравственнымъ“, говорилъ молодой нигилистъ своему другу, иногда даже подтверждая мучившія его мысли какимъ нибудь поступкомъ. — „Я становлюсь безнравственнымъ. Что можетъ меня удержать отъ этого?“

„Библія, что-ли? Но вѣдь библія — ничто иное, какъ сборникъ вавилонскихъ и іудейскихъ преданій, собранныхъ точно такъ же, какъ собирались когда-то пѣсни Гомера, или какъ теперь собираютъ пѣсни басковъ и сказки монголовъ! Неужели я долженъ вернуться къ умственному пониманію полу-варварскихъ народовъ Востока?

„Или-же я долженъ быть нравственнымъ, потому что Кантъ говоритъ намъ о какомъ-то „категорическомъ императивѣ“ (основномъ предписаніи), который исходитъ изъ глубины меня самого и предписываетъ мнѣ быть нравственнымъ? Но, въ такомъ случаѣ, почему же я признаю за этимъ категорическимъ императивомъ больше власти надъ собою, чѣмъ за другимъ императивомъ, который иногда, можетъ быть, велитъ мнѣ напиться пьянымъ?

Вѣдь это — только *слово*, такое же слово, какъ слово Провидѣніе, или Судьба, которымъ мы прикрываемъ свое невѣденіе.

„Или же, потому я долженъ быть нравственнымъ, что такъ угодно Бентаму, который увѣряетъ, что я буду счастливѣе, если утону, спасая человѣка, тонущаго въ рѣкѣ, чѣмъ если я буду смотрѣть съ берега, какъ онъ тонетъ?

„Или же, наконецъ, потому, что такъ меня воспитали? Потому что моя мать учила меня быть нравственнымъ? Но въ такомъ случаѣ, я долженъ, стало-быть, класть поклоны передъ картиною, изображающею Христа или Богородицу, уважать царя, преклоняться передъ судьею, когда я, можетъ быть, знаю, что онъ взяточникъ? Все это, только потому, что моя мать, наши матери, — прекрасныя, но въ концѣ концовъ очень мало знающія женщины—учили насъ кучѣ всякаго вздора?

„Все это предразсудки, — и я всячески постараюсь отъ нихъ отдѣлаться. Если мнѣ противно быть безнравственнымъ, то я заставлю себя быть таковымъ, точно такъ же, какъ въ юношествѣ я заставлялъ себя не бояться темноты, кладбища, привидѣній, покойниковъ, къ которымъ нянюшки вселяли мнѣ страхъ. Я сдѣлаю это, чтобы разбить оружіе, которое обратили себѣ на пользу религіи; я сдѣлаю это, хотя бы только для того, чтобы протестовать противъ лицемѣрія, которое налагаетъ на насъ обязанности во имя какого-то *слова*, названнаго ими нравственностью.“

Такъ разсуждала русская молодежь, въ ту пору, когда она отбрасывала предразсудки „стараго міра“ и развертывала знамя нигилизма (т. е., въ сущности, анархической философіи), и говорила: „не склоняйся ни передъ какимъ авторитетомъ, какъ бы уважаемъ онъ ни былъ; не принимай на вѣру никакого утвержденія, если оно не установлено разумомъ“.

Нужно-ли прибавлять, что, отбросивъ уроки нравственности своихъ родителей и отвергнувъ всѣ, безъ исключенія этическія системы, эта же самая нигилистическая молодежь выработала въ своей средѣ ядро нравственныхъ *обычаевъ*, *обихода*, гораздо болѣе глубоко нравственныхъ, чѣмъ весь образъ жизни ихъ родителей, выработанный подъ руководствомъ евангелія, или „категорическаго императива“ Канта, или „правильно понятой личной выгоды“ англійскихъ утилитаристовъ.

Но раньше, чѣмъ отвѣтить на вопросъ, „почему быть мнѣ нравственнымъ?“ разсмотримъ сперва мотивы человѣческихъ поступковъ.

II.

Когда наши прародители старались уяснить себѣ, что побуждаетъ человѣка дѣйствовать такъ или иначе, они очень просто рѣшали дѣло. По сію пору можно еще найти католическія картинки, на которыхъ изображено ихъ объясненіе. По полю идетъ человѣкъ и, самъ того не подозрѣвая, несетъ діавола у себя на лѣвомъ плечѣ, и ангела на правомъ. Діаволъ толкаетъ его на зло, ангелъ же старается удержать отъ зла; и если ангелъ возьметъ верхъ, и человѣкъ останется добродѣтельнымъ, тогда три другихъ ангела подхватятъ его и унесутъ въ облака. Все объяснено, какъ нельзя лучше.

Наши старушки-нянюшки, хорошо освѣдомленныя по этимъ дѣламъ, скажутъ вамъ даже, что никогда не надо класть ребенка въ постель, не разстегнувши ворота его рубашки. Нужно, чтобы „дужка“ внизу шеи оставалась открытой; тогда ангелъ-хранитель пріютится въ ней. Иначе, діаволъ будетъ мучить ребенка во снѣ.

Всѣ эти простыя, наивныя вѣрованія конечно пропадаютъ мало по малу. Но, если старыя слова исчезаютъ, то суть остается таже.

Люди, учившіеся чему нибудь, больше не вѣрятъ въ діавола; но такъ какъ громадномъ большинствѣ случаевъ ихъ пониманіе природы ничуть не раціональнѣе, чѣмъ пониманіе нашихъ нянюшекъ, они попросту запрятываютъ діавола и ангела подъ схоластическія словеса, которыя у нихъ сходятъ за философію. Вмѣсто „діавола“, нынче говорятъ: „плоть, дурныя страсти“. „Ангела“ нынче замѣнили словами „совѣсть“, „душа“ — „отраженіе мысли Творца“, или же „Великаго зодчаго“, какъ говорятъ франъ-масоны. Но поступки человѣка все же представляются, какъ и въ старину, — только, какъ слѣдствіе борьбы двухъ враждебныхъ началъ: добраго и злого, вмѣсто двухъ враждебныхъ существъ. И человѣкъ считается добродѣтельнымъ, или нѣтъ, смотря по тому, которое изъ двухъ началъ—душа, совѣсть, или же плотьи страсти — одержитъ верхъ.

Легко понять ужасъ нашихъ дѣдовъ, когда англійскіе философы восемнадцатаго вѣка, а за ними французскіе энциклопедисты начали утверждать, что ангелы и діаволы — ни при чемъ въ человѣческихъ поступкахъ; что всѣ поступки человѣка, хорошіе и дурные, полезные и вредные, имѣютъ одно побужденіе: желаніе личнаго удовлетворенія.

Люди вѣрующіе, а въ особенности неисчислимая орда фарисеевъ подняли тогда громкіе крики, обвиняя философовъ въ безнравственности. Ихъ всячески оскорбляли, ихъ предавали анафемѣ. И когда, позднѣе, въ теченіе девятнадцатаго вѣка, тѣже мысли высказывались Бентамомъ, Миллемъ, а потомъ Чернышевскимъ и многими другими, и эти писатели стали доказывать, что эгоизмъ, т. е. желаніе личнаго удовлетворенія, является истиннымъ двигателемъ всѣхъ нашихъ поступковъ, то проклятія религіозно-фарисейскаго лагеря раздались съ новою силою. Этихъ писателей стали обзывать невѣждами, развратниками, а ихъ книги замалчивали.

Но — было-ли ихъ утвержденіе, въ самомъ дѣлѣ, такъ невѣрно?

Вотъ человѣкъ, который отнимаетъ у голодныхъ дѣтей послѣдній кусокъ хлѣба. Всѣ единогласно признаютъ, вѣдь, что онъ — отчаянный эгоистъ, что имъ двигаетъ только *любовь къ самому себѣ*.

Но вотъ другой, котораго всѣ признаютъ добродѣтельнымъ. Онъ дѣлитъ свой послѣдній кусокъ хлѣба съ голодными, онъ снимаетъ съ себя одежду, чтобы отдать тому, кто зябнетъ на морозѣ. И моралисты, говоря все тѣмъ же языкомъ религій, въ одинъ голосъ утверждаютъ, что въ этомъ человѣкѣ любовь къ ближнему доходитъ до *самопожертвованія*, — что имъ двигаетъ совсѣмъ другая страсть, чѣмъ эгоистомъ.

А между тѣмъ, если подумать немножко, не трудно замѣтить, что — хотя послѣдствія этихъ двухъ поступковъ совершенно различны для человѣчества, двигающая сила того и другого одна и та же. И въ томъ и въ другомъ случаѣ человѣкъ ищетъ удовлетворенія своихъ личныхъ желаній — слѣдовательно, удовольствія.

Если бы человѣкъ, отдающій свою рубашку другому, не находилъ въ этомъ личнаго удовлетворенія, онъ бы этого не сдѣлалъ. Если бы, наоборотъ, онъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы отнять хлѣбъ у дѣтей, онъ такъ бы и поступилъ. Но ему было бы непріятно, тяжело такъ поступить; ему пріятно, наоборотъ, подѣлиться своимъ, — и онъ отдаетъ свой хлѣбъ другому.

Если бы, мы не хотели, во избѣжаніе путаницы понятій, воздерживаться отъ употребленія въ новомъ смыслѣ словъ, уже имѣющихъ установленный смыслъ, мы могли-бы сказать, что и тотъ и другой человѣкъ дѣйствуютъ подъ вліяніемъ своего *эгоизма* (себялюбія). Такъ и говорятъ нѣкоторые писатели, чтобы сильнѣе оттѣнить свою мысль — чтобы рѣзче выразить ее въ формѣ, которая поражаетъ воображеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ отстранить легенду, утверждающую что побужденія совершенно разныя въ этихъ двухъ случаяхъ. На дѣлѣ же побужденіе

то же: найти удовлетвореніе, или же избѣгнуть тяжелаго, непріятнаго ощущенія, — что, въ сущности, одно и тоже.

Возьмите послѣдняго негодяя: Тьера, напримѣръ, который произвелъ избіеніе тридцати-пяти тысячъ парижанъ, при разгромѣ Коммуны; возьмите убійцу, который зарѣзалъ цѣлое семейство, чтобы самому предаться пьянству и разврату. Они такъ поступаютъ, потому что въ данную минуту желаніе славы въ Тьерѣ и жажда денегъ въ убійцѣ одержали верхъ надъ всѣми прочими желаніями: жалость, даже состраданіе убиты въ нихъ въ эту минуту другимъ желаніемъ, другою жаждою. Они дѣйствуютъ, почти какъ машины, чтобы удовлетворить потребность своей природы.

Или-же, оставляя людей, руководимыхъ сильными страстями, возьмите человѣка мелкаго, который надуваетъ своихъ друзей, лжетъ и изворачивается на каждомъ шагу, то — для того, чтобы заполучить денегъ на выпивку, то изъ хвастовства, то — просто изъ любви къ вранью. Возьмите буржуа, который обворовываетъ своихъ рабочихъ, грошъ за грошемъ, чтобы купить нарядъ своей женѣ или любовницѣ. Возьмите любого дрянного плута. Всѣ они, опять-таки, только повинуются своимъ наклонностямъ; всѣ они ищутъ удовлетворенія потребности, или же стремятся избѣгнуть того, что для нихъ было бы мучительно.

Сравнивать такихъ мелкихъ плутовъ съ тѣмъ, кто отдаетъ свою жизнь за освобожденіе угнетенныхъ и восходитъ на эшафотъ, какъ восходитъ русская революціонерка — сравнивать ихъ почти что стыдно. До такой степени различны результаты этихъ жизней для человѣчества; такъ привлекательны одни, и такъ отвратительны другіе.

А между тѣмъ, если бы вы спросили революціонерку, пожертвовавшую собой — даже за минуту до казни, она сказала бы вамъ, что она не отдала бы своей

жизни травленнаго царскими псами звѣря, и даже своей смерти, въ обмѣнъ на существованіе мелкаго плута, живущаго обворовываніемъ своихъ рабочихъ. Въ своей жизни, въ своей борьбѣ противъ властныхъ чудовищъ, она находила наивысшее удовлетвореніе. Все остальное, внѣ этой борьбы, всѣ мелкія радости, всѣ мелкія горести „мѣщанскаго счастья“ кажутся ей такими ничтожными, такими скучными, такими жалкими! — „*Вы не живете*“, сказала бы она; „*вы прозябаете; а я — я жила!*“

Мы очевидно говоримъ здѣсь объ обдуманныхъ, сознательныхъ поступкахъ человѣка: о безсознательныхъ, почти машинальныхъ поступкахъ и дѣйствіяхъ, составляющихъ такую громадную долю жизни человѣка, мы поговоримъ потомъ. Такъ вотъ, въ своихъ сознательныхъ, обдуманныхъ поступкахъ, человѣкъ всегда ищетъ того, что даетъ ему удовлетвореніе.

Такой-то напивается каждый день, потому что онъ ищетъ въ винѣ нервнаго возбужденія, котораго не находитъ въ своей истощенной нервной системѣ. Другой не напивается, отказывается отъ вина, хотя даже находитъ въ немъ удовольствіе, чтобы сохранить свѣжесть мысли и полноту своихъ силъ, которыя онъ и отдаетъ на то, чтобы наслаждаться чѣмъ нибудь другимъ, что предпочитаетъ вину. Но, поступая такъ, не поступаетъ ли онъ точно такъ же, какъ человѣкъ, любящій поѣсть и отказывающійся за большимъ обѣдомъ отъ одного блюда, чтобы наѣсться другого, любимаго блюда?

Что бы человѣкъ ни дѣлалъ, онъ всегда, либо ищетъ удовлетворенія своихъ желаній, либо старается избѣгнуть чего нибудь непріятнаго.

Когда женщина, подобная Луизѣ Мишель, отдаетъ послѣдній свой кусокъ хлѣба первому встрѣчному, и снимаетъ съ себя послѣднюю свою ветошку, чтобы закутать другую женщину, а сама дрожитъ на палубѣ корабля, несущаго ее на каторгу въ Новую Каледонію, – она поступаетъ такъ, потому что она гораздо больше

бы страдала при видѣ голоднаго человѣка или дрожащей отъ холода женщины, чѣмъ когда сама дрожитъ или чувствуетъ голодъ. Она избѣгаетъ непріятнаго чувства, всю силу котораго могутъ понять только тѣ, кто самъ его испытывалъ.

Когда австраліецъ, о которомъ разсказывалъ Дарвинъ, чахнетъ отъ мысли, что онъ еще не отомстилъ за смерть своего сородича; когда онъ худѣетъ съ каждымъ днемъ, мучимый сознаніемъ своей трусости, и возвращается къ нормальной жизни только послѣ того, какъ выполнитъ долгъ родовой мести, — этотъ австраліецъ совершаетъ актъ, нерѣдко геройскій, чтобы избавиться отъ угрызеній совѣсти, которыя его мучатъ: чтобы снова узнать внутренній міръ, который и составляетъ высшее наслажденіе.

Когда стадо обезьянъ, увидавши, что одинъ изъ ихъ братіи палъ подъ пулею охотника, подходитъ, всею гурьбою, къ палаткѣ охотника, требуя отъ него выдачи трупа, не смотря на страхъ, наведенный его ружьемъ; когда старый самецъ изъ этого стада рѣшается подойти вплотную къ палаткѣ, сперва угрожаетъ охотнику, а потомъ — проситъ и, наконецъ, своими завываніями добивается того, что ему отдаютъ трупъ — послѣ чего стадо уноситъ убитаго товарища, оглашая воздухъ своими воплями (фактъ разсказанный натуралистомъ Форбзомъ), — въ этомъ случаѣ обезьяны повинуются чувству соболѣзнованія, которое беретъ верхъ надъ всѣми ихъ соображеніями о личной безопасности. Чувство соболѣзнованія и взаимности подавляетъ всѣ остальныя: самая жизнь теряетъ для нихъ свою цѣну, пока онѣ не убѣдятся, что вернуть товарища къ жизни онѣ больше не могутъ. Оно до того гнетуще дѣйствуетъ на этихъ бѣдныхъ животныхъ, что они идутъ на явную опасность, лишь бы отъ него избавиться.

Когда муравьи тысячами бросаются въ огонь муравейника, подожженнаго для забавы этимъ злымъ животнымъ — человѣкомъ, и гибнутъ сотнями въ огнѣ, спасая

свои личинки, они опять-таки повинуются глубоко сидящей въ нихъ потребности: спасать свое потомство. Они всѣмъ рискуютъ, чтобы сохранить личинки, которыя онѣ воспитывали — часто съ большею заботливостью, чѣмъ буржуазка-мать воспитываетъ своихъ дѣтей.

И наконецъ, когда микроскопическая инфузорія уплываетъ отъ слишкомъ жаркаго луча и ищетъ умѣренно теплыхъ лучей, когда растеніе поворачиваетъ свой цвѣтокъ къ солнцу, а на ночь складываетъ свои лепестки, — всѣ эти существа также повинуются потребности избѣгнуть непріятнаго и насладиться пріятнымъ, — точно такъ же, какъ муравей, какъ обезьяна, какъ австралiецъ, какъ христіанскій мученикъ, какъ мученикъ-революціонеръ.

Искать удовлетворенія потребности, избѣгать того, что мучительно, таковъ всеобщій фактъ (другіе скажутъ «законъ») жизни. Въ этомъ — самая сущность жизни.

Безъ этого исканія удовлетворенія, жизнь стала бы невозможной. Организмъ распался бы, прекратилось бы существованіе.

Такимъ образомъ, каковъ бы ни былъ поступокъ человѣка, какой бы образъ дѣйствія онъ ни избралъ, онъ всегда поступаетъ такъ, а не иначе, повинуясь потребности своей природы. Самый отвратительный поступокъ, какъ и самый прекрасный, или же самый безразличный поступокъ, одинаково являются слѣдствіемъ потребности въ данную минуту. Человѣкъ поступаетъ такъ, или иначе, потому что онъ въ этомъ находитъ удовлетвореніе, или же избѣгаетъ такимъ образомъ (или думаетъ, что избѣгаетъ) непріятнаго ощущенія.

Вотъ фактъ, совершенно установленный. Вотъ сущность того, что называли теоріей эгоизма.

И что же? Подвинуло-ли насъ сколько нибудь установленіе этого обобщенія?

АКАДЕМІЯ НАУКЪ

Да, конечно подвинуло. Мы завоевали себѣ одну истину и разрушили одинъ предразсудокъ, лежащій въ основѣ всѣхъ другихъ предразсудковъ. Вся матерьялистическая философія, поскольку она касается человѣка, содержится въ этомъ заключеніи.

Но — слѣдуетъ-ли изъ этого, что поступки человѣка *безразличны*, какъ это поторопились вывести весьма многіе? Разберемъ теперь этотъ выводъ.

III.

Мы видѣли, что обдуманные и сознательные поступки человѣка — позже мы поговоримъ о безсознательныхъ привычкахъ — всѣ имѣютъ одинаковое происхожденіе. Поступки, называемые добродѣтельными, и тѣ, которые мы называемъ порочными, великіе акты самопожертвованія и мелкое плутовство, поступки привлекательные и поступки отвратительные — всѣ вытекаютъ изъ одного и того же источника. Всѣ совершаются для того, чтобы отвѣтить потребности, зависящей отъ природы личности. Всѣ имѣютъ цѣлью доставить удовлетвореніе потребности, т. е. удовольствіе, или же отвѣчаютъ желанію избѣгнуть страданія.

Мы видѣли это въ предыдущей главѣ, представляющей собою сжатый очеркъ громаднѣйшей массы фактовъ; ихъ можно было бы привести безъ числа въ подтвержденіе сказаннаго.

Понятно, что такое объясненіе приводитъ въ озлобленіе тѣхъ, кто еще пропитанъ религіозными мыслями. Оно не оставляетъ мѣста сверхъ-естественнымъ силамъ: оно исключаетъ мысль о безсмертной душѣ. Дѣйствительно,

если человѣкъ всегда повинуется потребностямъ своей природы, если онъ, такъ сказать, ничто иное, какъ „сознательный автоматъ“, — гдѣ же мѣсто для безсмертной души? Что сталось съ безсмертіемъ — этимъ послѣднимъ убѣжищемъ тѣхъ, кто много страдалъ и мало зналъ радостей, и кто вѣритъ, поэтому, что найдетъ вознагражденіе въ другомъ, загробномъ мірѣ?

Мы понимаемъ, что люди, выросшіе въ предразсудкахъ, не довѣряющіе наукѣ — она такъ часто ихъ обманывала — и гораздо болѣе управляемые чувствомъ, чѣмъ разумомъ, отвергаютъ такое объясненіе. Оно отнимаетъ у нихъ ихъ послѣднюю надежду.

Но что сказать о революціонерахъ, которые, начиная съ восемнадцатаго вѣка и вплоть до нашихъ дней, — какъ только познакомятся впервые съ естественнымъ объясненіемъ человѣческихъ поступковъ (съ теоріею эгоизма, если хотите), сейчасъ же спѣшатъ вывести изъ нея то же заключеніе, что и молодой нигилистъ, о которомъ мы говорили въ началѣ, т. е. говорятъ: „Долой всякую нравственность!“.

Что сказать о тѣхъ, которые, убѣдившись, что, какъ бы ни поступалъ человѣкъ, онъ поступаетъ такъ, а не иначе, чтобы отвѣтить потребности своей природы, торопятся вывести изъ этого, что всѣ поступки безразличны; что нѣтъ ни добра, ни зла; что спасти тонущаго человѣка, или утопить человѣка, чтобы завладѣть его часами — два равнозначущихъ поступка; что мученикъ, умирающій на эшафотѣ, послѣ того, какъ работалъ въ своей жизни надъ освобожденіемъ человѣчества, и мелкій плутъ стоятъ другъ друга — потому что оба искали удовлетворенія потребности, искали счастья!

Если бы тѣже люди прибавляли, что нѣтъ на свѣтѣ ни пріятныхъ, ни непріятныхъ запаховъ; что ароматъ розы и вонь ассы фетиды безразличны, потому что и то и другое — ни что иное, какъ колебанія частичекъ

вещества; что нѣтъ ни хорошаго ни дурного вкуса, такъ какъ горечь хинина и сладость гуавы — опять-таки ничто иное какъ колебанія частичекъ; что на свѣтѣ нѣтъ ни физической красоты, ни безобразія, ни ума, ни глупости, потому что красота и безобразіе, умъ и глупость — тоже результаты колебаній, химическихъ и физическихъ, происходящихъ въ клѣточкахъ организма. Если бы они прибавили все это, то можно было бы сказать, что они городятъ вздоръ, но по крайней мѣрѣ разсуждаютъ съ формальною логикою сумасшедшаго.

Но нѣтъ — этого они не утверждаютъ. Они признаютъ, для себя и другихъ, различіе хорошаго и дурного вкуса, пріятнаго и непріятнаго запаха, они знаютъ различіе ума и глупости, красоты и безобразія.... Что же слѣдуетъ изъ этого заключить?

Нашъ отвѣтъ очень простъ. Дѣло въ томъ, что Мандевиль, писавшій въ 1723-мъ году свою „Басню о Пчелахъ“, русскій нигилистъ шестидесятыхъ годовъ, и современный французскій анархистъ разсуждаютъ такъ, потому что, не отдавая себѣ въ томъ отчета, они остаются погрязшими въ предразсудкахъ своего христіанскаго воспитанія. Какими бы они себя ни считали атеистами, матеріалистами, или анархистами, они продолжаютъ разсуждать по вопросу о нравственности точь въ точь, какъ разсуждали отцы Христіанской Церкви, или основатели буддизма.

Эти добродушные старцы говорили: „Поступокъ тогда будетъ *хорошъ*, когда онъ представляетъ собою побѣду души надъ плотью; онъ будетъ *дуренъ*, если плоть побѣдила душу; и онъ будетъ безразличенъ, если ни то, ни другое. Только по этому признаку можемъ мы судить, хорошъ поступокъ, или дуренъ“. И наши молодые товарищи, вслѣдъ за христіанскими и буддистскими отцами повторяютъ: „Только по этому признаку можемъ мы судить, хорошъ поступокъ, или дуренъ. Разъ его нѣтъ — нѣтъ ни добра, ни зла“.

Отцы Церкви говорили: „Взгляните на животныхъ: у нихъ нѣтъ безсмертной души. Ихъ поступки просто отвѣчаютъ потребностямъ ихъ природы; *а потому*, у животныхъ не можетъ быть ни дурныхъ, ни хорошихъ поступковъ. Всѣ ихъ поступки безразличны. Вотъ почему, для животныхъ не будетъ ни ада, ни рая: ни наказанія, ни вознагражденія".

И наши молодые товарищи повторяютъ вслѣдъ за святымъ Августиномъ и святымъ Сакьямуни: „Человѣкъ — тоже животное; его поступки тоже отвѣчаютъ только потребностямъ его природы. *А потому*, не можетъ быть, ни хорошихъ, ни дурныхъ поступковъ. Они всѣ безразличны".

Вездѣ, всегда, все таже проклятая идея о наказаніи и вознагражденіи, становящаяся поперегъ разуму. Вездѣ, все тоже нелѣпое наслѣдіе религіознаго обученія, въ силу котораго выходило, что поступокъ тогда только хорошъ, когда онъ вытекаетъ изъ внушенія свыше, и безразличенъ, если въ немъ отсутствуетъ сверхъ-естественное внушеніе Опять, даже у тѣхъ, кто больше всего смѣется надъ діаволомъ и ангеломъ, мы находимъ діавола на лѣвомъ плечѣ, и ангела на правомъ.

„Разъ вы прогнали діавола и ангела, я уже больше не въ силахъ вамъ сказать, что хорошо, что дурно, такъ какъ другой мѣрки, чтобы судить поступки, у меня нѣтъ".

Старыя вѣрованія все еще живы по-прежнему, въ этомъ разсужденіи, съ ихъ діаволомъ и ангеломъ, не смотря на внѣшнюю матеріалистическую окраску. И что всего хуже, судья со своими раздачами кнута для однихъ и наградъ для другихъ, тоже благоприсутствуетъ, и даже принципы анархіи не въ силахъ искоренять этого понятія о наградѣ и наказаніи.

Но мы отказались, разъ навсегда, и отъ священника, и отъ судьи. Они намъ вовсе не нужны. А потому мы разсуждаемъ такъ: „Когда асса фетида издаетъ противный мнѣ запахъ, когда змѣя кусаетъ людей, а враль

ихъ обманываетъ, то всѣ трое одинаково слѣдуютъ природной необходимости. Это вѣрно. Но и я тоже слѣдую такой же природной необходимости, когда ненавижу растеніе, издающее противный запахъ, ненавижу змѣю, убивающую людей своимъ ядомъ, и ненавижу тѣхъ людей, которые иногда бываютъ вреднѣе всякой змѣи. И я буду дѣйствовать сообразно этому чувству, не обращаясь ни къ діаволу, съ которымъ я впрочемъ незнакомъ, ни къ судьѣ, котораго ненавижу еще больше, чѣмъ змѣю. Я и всѣ тѣ, кто такъ же думаетъ, мы тоже повинуемся потребностямъ нашей природы. И мы увидимъ, на чьей разумъ, а слѣдовательно и сила".

Это мы сейчасъ и разберемъ, и тогда мы увидимъ, что если святой Августинъ не находилъ другого основанія, чтобы различать между добромъ и зломъ, кромѣ внушенія свыше, то у животныхъ есть свое основаніе, несравненно болѣе дѣйствительное, для такого различенія.

Животныя вообще, начиная съ насѣкомаго и кончая человѣкомъ, прекрасно знаютъ, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этимъ ни къ евангелію ни къ философіи. И причина, почему они знаютъ, — опять-таки въ ихъ природныхъ потребностяхъ: въ условіяхъ необходимыхъ для сохраненія расы, которыя ведутъ, въ свою очередь, къ осуществленію возможно-большей суммы счастья для каждой отдѣльной особи.

IV.

Чтобы отличить, что *хорошо*, и что *худо*, богословы Моисеева закона, буддійскіе, христіанскіе и мусульманскіе всегда ссылались на божественное внушеніе свыше. Они видѣли, что человѣкъ, будь онъ цивилизованный или дикарь, ученый или безграмотный, развратникъ или добрый и честный, всегда знаетъ, когда онъ поступаетъ хорошо, и когда поступаетъ дурно, — въ особенности, когда поступаетъ дурно. Но, не находя объясненія этому всеобщему факту человѣческой природы, они приписывали его чувству, сознанію, вселенному въ человѣка свыше.

Вслѣдъ за ними, философы-метафизики говорили тоже о прирожденной совѣсти, о мистическомъ императивѣ — что впрочемъ ничего не объясняло и представляло только замѣну однихъ словъ другими.

Но ни богословы, ни метафизики не сумѣли указать на тотъ простой и поразительный фактъ, что всѣ животныя, живущія въ обществахъ, тоже умѣютъ различать между добромъ и зломъ, точно такъ же какъ человѣкъ. И, что всего важнѣе, ихъ пониманіе добра и зла совершенно то же, что у человѣка. У наиболѣе развитыхъ

представителей каждаго изъ классовъ животныхъ — т. е. у высшихъ насѣкомыхъ, у высшихъ рыбъ, птицъ и млекопитающихъ, эти представленія даже тождественны.

Нѣкоторые мыслители восемнадцатаго вѣка уже отмѣтили мимоходомъ это совпаденіе, но съ тѣхъ поръ оно было забыто, и намъ выпадаетъ теперь на долю, выставить все его глубокое значеніе.

Гюберъ и Форель, неподражаемые изслѣдователи муравьевъ, доказали цѣлою массою наблюденій и опытовъ, что если муравей, хорошо наполнившій свой зобикъ медомъ, встрѣчаетъ другихъ муравьевъ, голодныхъ, эти послѣдніе сейчасъ же просятъ его подѣлиться съ ними. И среди этихъ маленькихъ, умныхъ насѣкомыхъ считается долгомъ для сытаго муравья отрыгнуть медъ, и дать возможность голоднымъ товарищамъ покормиться.

Спросите у муравьевъ,—х о р о ш о ли было бы отказать въ такомъ случаѣ муравьямъ изъ своего муравейника? И они отвѣтятъ вамъ — фактами, смыслъ которыхъ невозможно не понять, — что отказать было бы очень *дурно*. Съ такимъ эгоистомъ-муравьемъ другіе изъ его муравейника поступили бы хуже, чѣмъ съ врагомъ изъ другого вида. Если бы такой отказъ случился во время сраженія между муравьями двухъ разныхъ видовъ, его сородичи бросили бы сраженіе, чтобы напасть на своего эгоиста. Этотъ фактъ былъ доказанъ опытами, не оставляющими послѣ себя никакого сомнѣнія.

Или же, спросите у воробьевъ, живущихъ въ вашемъ саду, хорошо ли поступилъ бы тотъ изъ нихъ, который, увидавъ, что вы выбросили крошки хлѣба, не предупредилъ бы другихъ объ этомъ пріятномъ для нихъ событіи. Если бы воробьи могли понять вашъ вопросъ, они навѣрно отвѣтили бы, что этого никогда не бываетъ. Или же спросите ихъ, хорошо ли поступилъ такой то молодой воробей, утащивъ чтобы избѣгнуть труда, нѣсколько соломенокъ изъ гнѣзда, которое строилъ другой воробей. На это воробьи, бросившись на воришку и грозя его

заклевать, очень ясно отвѣтятъ вамъ, что это очень нехорошо.

Спросите у сурковъ, — хорошо ли отказывать другимъ суркамъ своей колоніи доступъ къ своему подземному магазину запасовъ? И они опять дадутъ отвѣтъ, что очень худо, такъ какъ будутъ всячески надоѣдать скупому товарищу.

Наконецъ, спросите первобытнаго человѣка, — Чукчу, напримѣръ, — хорошо ли зайти въ пустой чумъ другого Чукчи и тамъ взять себѣ пищи? И, вамъ отвѣтятъ, что если Чукча могъ самъ добыть себѣ пищи, онъ поступилъ очень худо, беря ее у другого. Но если онъ очень усталъ и вообще былъ въ нуждѣ, тогда онъ долженъ былъ взять пищу, гдѣ бы ни нашелъ ее. Но въ такомъ случаѣ онъ поступилъ бы хорошо, оставивъ свою шапку, или хотя бы кусокъ ремешка съ завязаннымъ узломъ, чтобы хозяинъ могъ знать, вернувшись, что заходилъ не врагъ и не какой нибудь бродяга. Это избавило бы его отъ мысли, что по сосѣдству завелся какой то худой человѣкъ.

Тысячи такихъ фактовъ можно было бы привести. Цѣлыя книги можно было бы написать, чтобы показать, насколько сходны понятія добра и зла у человѣка и у животныхъ.

Ни муравей, ни птица, ни сурокъ, ни Чукча не читали ни Канта, ни Отцовъ Церкви, ни Моисеева закона. А между тѣмъ, у нихъ у всѣхъ тоже пониманіе добра и зла. Откуда это? И если вы подумаете немного надъ этимъ вопросомъ, вы сейчасъ же поймете, что то называется хорошимъ у муравьевъ, у сурковъ, у христіанскихъ проповѣдниковъ и у невѣрующихъ учителей нравственности, что полезно для сохраненія рода; и то называется зломъ, что вредно для него. Не для личности, какъ говорили Бентамъ и Милль (утилитаристы), но непремѣнно для всей расы, всего рода.

Та или другая религія, то или другое таинственное представленіе о совѣсти — ни при чемъ въ этомъ пониманіи добра и зла. Оно составляетъ естественную потребность всѣхъ живо тныхъ видовъ, выживающихъ въ борьбѣ за существованіе. И когда основатели религій, философы и моралисты толкуютъ о божественныхъ или о метафизическихъ „сущностяхъ“, они только повторяютъ то, что на дѣлѣ практикуетъ всякій муравей, всякая птица, въ своихъ муравьиныхъ или птичьихъ обществахъ.

„Полезно ли это обществу? Тогда, стало быть, хорошо. — Вредно обществу? Стало быть, дурно“.

Это понятіе можетъ быть очень съужено у низшихъ животныхъ, или же оно расширяется у высшихъ, — но суть его остается таже.

У муравьевъ оно рѣдко выходитъ за предѣлы муравейника. Правда, что встрѣчаются федераціи нѣсколькихъ сотъ и тысячъ муравейниковъ, но это исключенія. Обыкновенно же, всѣ общественные обычаи муравьиныхъ обществъ, всѣ правила „порядочности“ обязательны только для членовъ того же муравейника. Нужно дѣлиться своимъ запаснымъ медомъ, но только съ членами своего муравейника. Два муравейника не сойдутся въ одну общую семью, если только не случатся какія нибудь особыя обстоятельства — напримѣръ, общая нужда. Точно также, воробьи изъ Люксембургскаго сада [въ Парижѣ] нападаютъ жестоко на всякаго другого воробья,—напримѣръ, изъ сквэра Монжа,— если онъ сунется въ «ихъ» садъ. И Чукча одного рода относится къ Чукчѣ изъ другого рода, какъ къ чужому: къ нему не прилагаются обычаи, существующіе внутри своего рода. Такъ, напримѣръ, чужаку позволяется продавать свои издѣлія (продавать, по ихъ понятіямъ, всегда значитъ болѣе или менѣе обобрать покупателя: либо тотъ либо, другой — всегда въ проигрышѣ); между тѣмъ, внутри своего рода никакой продажи не допускается: своимъ надо просто давать, не ведя никакихъ счетовъ и разсчетовъ. И

наконецъ, истинно образованный человѣкъ понимаетъ связь, хотя бы и не явную, незамѣтную на первый взглядъ, существующую между нимъ и послѣднимъ изъ дикарей, и онъ распространяетъ свои понятія солидарности на весь человѣческій родъ, и даже отчасти, на животныхъ.

Понятіе, такимъ образомъ, расширяется, но суть его остается таже.

Съ другой стороны, понятіе о добрѣ и злѣ мѣняется сообразно развитію ума и накопленію знаній. Оно — не неизмѣнно.

Первобытный дикарь, во время періодическихъ голодовокъ, могъ находить, что очень хорошо, т. е. полезно для рода, съѣдать своихъ стариковъ, когда они становятся бременемъ для сородичей. Онъ могъ находить также хорошимъ, т. е. полезнымъ для своего рода, «выставлять», т. е. попросту отдавать на смерть часть новорожденныхъ дѣтей, сохраняя на каждую семью лишь по два или по три ребенка, которыхъ мать и кормила до трехъ-лѣтняго возраста и вообще нянчила съ глубокою нѣжностью *).

Теперь мы конечно уже этого не дѣлаемъ. Наши понятія измѣнились. Но и наши средства къ жизни иныя, чѣмъ они были у дикарей каменнаго вѣка. Цивилизованный человѣкъ уже не находится въ положеніи маленькаго племени дикарей, которому приходилось выбирать между двухъ золъ: или съѣдать трупы стариковъ, когда они приносили себя въ жертву своему роду и умирали на пользу общую, или же всему роду голодать и скоро оказаться не въ силахъ прокормить ни стариковъ, ни дѣтей.

*) Амурскій и Камчатскій епископъ Иннокентій каждый годъ посѣщалъ Чукчей, снабжая ихъ порохомъ и свинцомъ для охоты. — „И съ тѣхъ поръ, какъ я это дѣлаю“, говорилъ мнѣ этотъ замѣчательный человѣкъ на Амурѣ, «дѣтоубійство у нихъ совершенно прекратилось».

Нужно перенестись мыслью въ тѣ времена, которыя намъ даже трудно вообразить въ дѣйствительности, чтобы понять, что въ тогдашнихъ условіяхъ, полу-дикій человѣкъ, пожалуй, разсуждалъ довольно правильно.

Разсужденія могутъ мѣняться. Пониманіе того, что полезно и что вредно, измѣняется съ теченіемъ времени, но сущность его остается таже. И если бы мы захотѣли выразить въ одномъ изреченіи всю эту философію всего животнаго міра, то мы увидѣли бы что муравьи, птицы, сурки и люди, всѣ согласны въ одномъ:

Христіанскіе учители говорятъ намъ: «Не дѣлай другому того, чего ты не хочешь, чтобы дѣлали тебѣ». И прибавляютъ: «Иначе, будешь въ аду».

Нравственность же, которая выясняется изъ знакомства со всѣмъ животнымъ міромъ, не ниже, а скорѣе выше предыдущей. Она просто говоритъ: «Поступай съ другими такъ, какъ бы ты хотѣлъ, чтобы въ тѣхъ же условіяхъ другіе поступали съ тобою».

И она спѣшитъ прибавить:

«Замѣть, что это — только с о в ѣ т ъ; но этотъ совѣтъ — плодъ очень долгаго опыта, выведеннаго изъ жизни обществами у очень многихъ животныхъ; и у всего этого множества животныхъ, живущихъ обществами, включая человѣка, поступать такимъ образомъ уже обратилось въ п р и в ы ч к у. Безъ этого, впрочемъ, никакое общество не могло бы прожить, никакой видъ животныхъ не могъ бы выжить, не могъ бы справиться съ природными трудностями, противъ которыхъ онъ долженъ бороться».

Правда-ли, однако, что именно это начало выступаетъ изъ наблюденія надъ общительными животными и человѣческими обществами? Приложимо-ли оно? И какимъ путемъ это начало переходитъ въ привычку и постоянно развивается? Вотъ что мы разсмотримъ теперь.

V.

Понятіе о добрѣ и злѣ существуетъ, такимъ образомъ, въ человѣчествѣ. На какой бы низкой ступени умственнаго развитія ни стоялъ человѣкъ, какъ бы ни были затуманены его мысли всякими предразсудками или соображеніями о личной выгодѣ, онъ всетаки считаетъ добромъ, *то, что полезно обществу, въ которомъ онъ живетъ, и зломъ — то что вредно этому обществу.*

Но откуда же берется у человѣка это понятіе, — иногда до того еще смутное, что его трудно отличить отъ простого чувства? Вотъ милліоны человѣческихъ существъ, которыя никогда не думали обо всемъ человѣчествѣ. Каждый изъ нихъ знаетъ, большею частью, только свой собственный родъ, очень рѣдко даже свою націю, — какъ же можетъ онъ считать добромъ то, что полезно всему человѣчеству? Спрашивается даже, какъ можетъ онъ дойти до мысли о единствѣ, хотя бы только со своимъ племенемъ, несмотря на свои узко-эгоистичные инстинкты?

Во всѣ времена этотъ вопросъ сильно занималъ мыслителей. Онъ продолжаетъ занимать ихъ по сію пору, и года не проходитъ, чтобъ не появилось нѣсколько

сочиненій по этому вопросу. И мы въ свою очередь попытаемся изложить нашъ взглядъ. Замѣтимъ только мимоходомъ, что если толкованіе факта мѣняется, то самый фактъ остается неизмѣннымъ; и если наше толкованіе еще окажется невѣрнымъ или недостаточнымъ, то фактъ существованія въ человѣкѣ нравственнаго чувства, со всѣми его послѣдствіями, остается непоколебимъ. Мы можемъ давать невѣрное объясненіе происхожденію планетъ, вращающихся вокругъ солнца,— но планеты вращаются тѣмъ не менѣе, и одна изъ нихъ несетъ насъ на себѣ въ пространствѣ. Такъ и съ нравственнымъ чувствомъ.

Мы уже упоминали о религіозномъ объясненіи. „Если человѣкъ способенъ различать между добромъ и зломъ, говорятъ религіозные люди,—значитъ Богъ внушилъ ему это пониманіе. Полезны или вредны такіе то поступки, — тутъ нечего разсуждать: человѣкъ долженъ повиноваться волѣ своего творца". — Не будемъ останавливаться на этомъ объясненіи, оно — плодъ страха и незнанія первобытнаго человѣка.

Другіе (Гоббсъ, напримѣръ) старались объяснить нравственное чувство въ человѣкѣ вліяніемъ *законовъ*. „Законы, говорили они, развили въ человѣкѣ чувство *справедливаго и не справедливаго, добра и зла*". Наши читатели сами оцѣнятъ по достоинству такое объясненіе. Они знаютъ, что законъ не создавалъ общественныя наклонности человѣка, а пользовался ими, чтобы, рядомъ съ правилами нравственности, которыя люди признавали, дать имъ въ придачу такія предписанія, которыя были полезны только для правящаго меньшинства, и которыхъ поэтому люди не хотѣли признавать. Законъ чаще извращалъ чувство справедливости, чѣмъ развивалъ его. А потому—мимо.

Мы не будемъ также останавливаться на объясненіи утилитарныхъ философовъ, выводившихъ нравственное чувство человѣка изъ соображеній о *пользѣ для него*

самого тѣхъ или другихъ поступковъ. Они утверждаютъ, что человѣкъ поступаетъ нравственно изъ личной выгоды, и упускаютъ изъ виду чувство общности каждаго со всѣмъ человѣчествомъ; а между тѣмъ такое чувство существуетъ, каково бы ни было его происхожденіе. Въ ихъ объясненіи есть, стало быть, доля правды; но всей правды еще нѣтъ. А потому пойдемъ дальше.

Опять-таки у мыслителей восемнадцатаго вѣка, мы находимъ первое, хотя еще неполное, объясненіе нравственнаго чувства.

Въ прекрасной книгѣ, которую замалчиваетъ духовенство всѣхъ религій, а потому мало извѣстной даже нерелигіознымъ мыслителямъ *), Адамъ Смитъ указалъ на истинное происхожденіе нравственнаго чувства. Онъ не сталъ искать его въ религіозныхъ или мистическихъ внушеніяхъ, — онъ увидалъ его въ самомъ обыкновенномъ чувствѣ взаимной симпатіи.

Передъ вашими глазами бьютъ ребенка. Вы знаете, что ребенокъ отъ этого страдаетъ, и ваше воображеніе заставляетъ васъ самого почти чувствовать его боль; или же его страдальческое личико, его слезы, говорятъ вамъ это. И если вы не трусъ, вы бросаетесь на бьющаго, и вырываете у него ребенка.

Этотъ примѣръ уже объясняетъ почти всѣ нравственныя чувства. Чѣмъ сильнѣе развито ваше воображеніе, тѣмъ яснѣе вы себѣ представите то, что чувствуетъ страдающее существо, и тѣмъ сильнѣе, тѣмъ утонченнѣе будетъ ваше нравственное чувство. Чѣмъ болѣе вы способны поставить себя на мѣсто другого и почувствовать причиненное ему зло, нанесенное ему оскорбленіе, или сдѣланную ему несправедливость, тѣмъ сильнѣе будетъ въ васъ желаніе сдѣлать что нибудь, чтобы по-

*) „Теорія нравственныхъ чувствъ, или попытка разсмотрѣнія началъ, которыми обыкновенно руководствуются люди въ сужденіяхъ о поведеніи и характерѣ, сперва — своихъ ближнихъ, а потомъ — и самихъ себя“. Лондонъ, 1759.

мѣшать злу, обидѣ, несправедливости. И чѣмъ болѣе всякія обстоятельства въ жизни, или же окружающіе васъ люди, или же сила вашей собственной мысли и вашего собственнаго воображенія разовьютъ въ васъ *привычку дѣйствовать*, въ томъ смыслѣ, куда васъ толкаютъ ваша мысль и воображеніе—тѣмъ болѣе нравственное чувство будетъ расти въ васъ, тѣмъ болѣе обратится оно въ привычку.

Таковы были мысли, которыя развивалъ Адамъ Смитъ, подтверждая ихъ множествомъ примѣровъ. Онъ былъ молодъ, когда писалъ эту книгу, стоящую несравненно выше его старческаго произведенія, „Богатство народовъ“. Свободный отъ религіозныхъ предразсудковъ, онъ искалъ объясненія нравственности въ физическомъ свойствѣ физической человѣческой природы, а потому, въ продолженіе полутораста лѣтъ свѣтскіе и духовные защитники религій замалчивали замалчиваютъ эту книгу.

Единственною ошибкою Адама Смита было то, что онъ не замѣчалъ существованія того же чувства симпатіи, перешедшаго уже въ привычку, у животныхъ.

Что бы ни говорили популяризаторы Дарвина, которые видятъ у него только мысль о борьбѣ за существованіе, заимствованную у Мальтуса и развитую имъ въ „Происхожденіи Видовъ“, но не замѣчаютъ того, что онъ писалъ въ своемъ позднѣйшемъ сочиненіи, „О происхожденіи человѣка“, — чувство взаимной поддержки является выдающеюся чертою въ жизни всѣхъ общественныхъ животныхъ. Коршунъ убиваетъ воробья, волкъ поѣдаетъ сурковъ; но коршуны и волки помогаютъ другъ другу въ охотѣ, а воробьи и сурки умѣютъ такъ прекрасно помогать другъ другу въ защитѣ отъ хищныхъ животныхъ, что попадаются одни только глупыши. Во всякомъ животномъ обществѣ взаимная поддержка является закономъ (всеобщимъ фактомъ) природы, несравненно болѣе важнымъ, чѣмъ борьба за существованіе, которой

прелести намъ восхваляютъ буржуазные писатели, съ цѣлью вѣрнѣе насъ обойти.

Когда мы изучаемъ животный міръ и присматриваемся къ борьбѣ за существованіе, которую ведетъ всякое живое существо противъ враждебныхъ ему физическихъ условій и противъ своихъ враговъ, мы замѣчаемъ, что чѣмъ болѣе развито въ данномъ животномъ обществѣ начало взаимности, и чѣмъ болѣе оно перешло въ привычку, тѣмъ болѣе имѣетъ шансовъ это общество выжить и одолѣть въ борьбѣ противъ физическихъ невзгодъ и противъ своихъ враговъ. Чѣмъ полнѣе чувствуетъ каждый членъ общества свою зависимость отъ каждаго другого, тѣмъ лучше развиваются во всѣхъ два качества, составляющія залогъ побѣды и прогресса: мужество и свободная иниціатива каждой отдѣльной личности. И наоборотъ, если въ какомъ нибудь животномъ видѣ или среди небольшой группы этого вида утрачивается чувство взаимной поддержки, (а это случается иногда въ періоды особенно сильной нищеты, или же исключительнаго обилія пищи), тѣмъ болѣе два главныхъ двигателя прогресса—мужество и личная иниціатива — ослабѣваютъ; если же они совсѣмъ исчезнутъ, то общество приходитъ въ упадокъ и гибнетъ, не въ силахъ будучи устоять противъ своихъ враговъ. Безъ взаимнаго довѣрія не можетъ быть борьбы; безъ мужества, безъ личнаго почина, безъ взаимной поддержки (солидарности) нѣтъ побѣды. Пораженіе неизбѣжно.

Когда-нибудь въ другомъ мѣстѣ мы еще вернемся къ этому вопросу, и тогда можно будетъ доказать массою фактовъ, что законъ взаимной поддержки — законъ прогресса; что взаимная помощь, а слѣдовательно мужество и иниціатива, воспитываемыя ею, обезпечиваютъ побѣду тому виду, который лучше прилагаетъ ее на практикѣ. Въ данную минуту намъ достаточно только указать на этотъ фактъ. Его значеніе для занимающаго насъ вопроса очевидно.

Теперь представимъ себѣ, что такое чувство взаимной поддержки существуетъ и практикуется уже милліоны вѣковъ, прошедшихъ съ тѣхъ поръ, какъ первые зачатки животнаго міра начали появляться на земномъ шарѣ. Представимъ себѣ, что это чувство понемногу обращалось въ привычку и передавалось по наслѣдству, начиная съ простѣйшаго микроскопическаго организма, позднѣйшимъ формамъ животныхъ: насѣкомымъ, земноводнымъ, птицамъ, млекопитающимъ и человѣку. И намъ тогда понятно станетъ происхожденіе нравственнаго чувства. Оно составляетъ необходимость для животнаго, точно также какъ пища или какъ органъ дыханія.

Вотъ, стало быть, не восходя еще дальше, (такъ какъ намъ тогда пришлось бы говорить о томъ, что всѣ болѣе сложныя животныя первоначально произошли изъ „колоній“ простѣйшихъ организмовъ,) вотъ *происхожденіе* нравственнаго чувства.

Намъ пришлось выражаться очень кратко, чтобы умѣстить этотъ великій вопросъ на пространствѣ нѣсколькихъ страничекъ; но сказаннаго достаточно, чтобы показать, что въ происхожденіи нравственнаго чувства ничего нѣтъ таинственнаго и сантиментальнаго. Если бы не существовало тѣсной связи между индивидуумомъ и видомъ, то животный міръ никогда не могъ бы развиться и дойти до болѣе совершенныхъ формъ. Самымъ развитымъ организмомъ на землѣ оставался бы одинъ изъ тѣхъ комочковъ студенистаго вещества, которые носятся въ водѣ и едва замѣтны подъ микроскопомъ. Даже и такой организмъ могъ ли бы существовать, такъ какъ самыя простыя скопленія клѣточекъ уже представляютъ собой сообщества для борьбы съ внѣшними условіями?

VI.

Итакъ мы видимъ, что, если наблюдать животныя общества — не съ точки зрѣнія заинтересованнаго буржуа, а какъ простой вдумчивый наблюдатель,—приходится признать, что нравственное начало: „Относись къ другимъ такъ, какъ ты желалъ бы, чтобъ они отнеслись къ тебѣ при тѣхъ же обстоятельствахъ“ встрѣчается вездѣ, гдѣ существуетъ общество.

И если ближе изучать постепенное развитіе животнаго міра, то замѣчаешь, [какъ это сдѣлали зоологъ Кесслеръ и экономистъ Чернышевскій], что взаимная поддержка имѣла, для *прогрессивнаго* развитія животнаго міра, гораздо большее значеніе, чѣмъ всѣ приспособленія организмовъ, которыя могли явиться въ силу борьбы между отдѣльными особями.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что таже взаимная поддержка встрѣчается въ еще большей мѣрѣ въ человѣческихъ обществахъ. Уже среди обезьянъ, представляющихъ высшій типъ развитія животнаго міра, мы находимъ самую широко-развитую практику солидарности. Человѣкъ же дѣлаетъ еще шагъ въ томъ же направленіи, и только

благодаря этому, ему удалось сохранить свою сравнительно слабую породу вопреки всѣмъ природнымъ препятствіямъ, стоявшимъ на ея пути, и высоко развить свой разумъ. Даже среди самыхъ первобытныхъ людей, оставшихся до сихъ поръ на уровнѣ культуры каменнаго вѣка, мы находимъ, въ ихъ маленькихъ общинахъ, самое высокое развитіе взаимности, практикуемой всѣми членами общины.

Вотъ почему чувство солидарности [взаимности] и привычка къ ней никогда не исчезаютъ въ человѣчествѣ, даже въ самые мрачные періоды исторіи. Даже тогда, когда въ силу временныхъ условій: подчиненности, рабства, эксплуатаціи, это великое начало общественной жизни начинаетъ приходить въ упадокъ, оно всетаки живетъ въ мысляхъ большинства, и въ концѣ концовъ вызываетъ протестъ противъ худыхъ, эгоистичныхъ учрежденій — революцію. Оно и понятно: безъ этого общество должно было бы погибнуть.

Для громаднѣйшаго большинства животныхъ и людей это чувство взаимности остается и должно оставаться вѣчно живымъ, какъ пріобрѣтенная привычка, какъ начало, всегда присущее уму, хотя бы даже человѣкъ часто измѣнялъ ему въ своихъ поступкахъ.

Въ насъ говоритъ эволюція всего животнаго міра. А она очень длинна. Она длится уже сотни милліонолѣтій.

Еслибъ даже мы захотѣли избавиться отъ этого чувства, мы не могли бы. Человѣку легче было бы привыкнуть ходить на четверенькахъ, чѣмъ избавиться отъ нравственнаго чувства, потому что въ развитіи животнаго міра нравственное чувство появилось раньше, чѣмъ хожденіе на двухъ погахъ. Наше нравственное чувство — природная способность, совершенно также, какъ чувство, осязанія или обоняніе.

Что же касается до закона и религіи, которые *также* проповѣдуютъ это начало, мы знаемъ, что они просто за просто пользуются имъ, чтобы прикрывать

свой товаръ—свои предписанія на пользу завоевателямъ, эксплуататорамъ и священникамъ. Если бы этого принципа солидарности, справедливость котораго всѣ охотно признаютъ, не существовало, они даже никогда не пріобрѣли бы такой власти надъ умами. Они имъ пользуются; они прикрываются имъ, точно также, какъ государственная власть водворилась, пользуясь существующимъ въ людяхъ чувствомъ справедливости и выставляя себя защитницей слабыхъ противъ сильныхъ.

Выбрасывая за бортъ законъ, религію и власть, человѣчество снова вступаетъ въ обладаніе своимъ нравственнымъ началомъ и, подвергая его критикѣ, очищаетъ его отъ поддѣлокъ, которыми духовенство, судьи и всякіе управители отравляли его и по сихъ поръ отравляютъ.

Но отрицать нравственный принципъ, *потому что* Церковь и Законъ пользовались имъ для своихъ цѣлей, было бы также неблагоразумно, какъ объявить, что человѣкъ никогда больше не будетъ мыться, станетъ ѣсть свинину, зараженную трихинами, и отвергнетъ общинное владѣніе землей, *потому что* Коранъ предписываетъ совершать каждый день омовенія, *потому что* гигіенистъ Моисей запрещалъ евреямъ ѣсть свинину, а Шаріатъ [сводъ Мусульманскаго обычнаго права — дополненіе къ Корану] требуетъ, чтобъ земля, оставшаяся три года невоздѣланной, возвращалась общинѣ.

Нужно замѣтить, что принципъ, въ силу котораго слѣдуетъ обращаться съ другими такъ же, какъ мы желаемъ чтобъ обращались съ нами, представляетъ собой ничто иное, какъ начало Равенства, т. е. основное начало анархизма. Какъ же можно считать себя анархистомъ, если не прилагать его на практикѣ?

Мы не желаемъ, чтобы нами управляли. Но этимъ самымъ, не объявляемъ ли мы, что мы въ свою очередь не желаемъ управлять другими? — Мы не желаемъ, чтобы насъ обманывали, мы хотимъ, чтобъ намъ всегда говорили только правду; но тѣмъ самымъ не объявляемъ

ли мы, что мы никого не хотимъ обманывать, что мы обязываемся всегда говорить правду, только правду, всю правду? — Мы не хотимъ, чтобъ у насъ отнимали продукты нашего труда; но тѣмъ самымъ не объявляемъ ли мы, что мы будемъ уважать плоды чужого труда?

Съ какой стати, въ самомъ дѣлѣ, стали бы мы требовать, чтобы съ нами обращались извѣстнымъ образомъ, а сами въ тоже время обращались бы съ другими совершенно иначе? Развѣ мы считаемъ себя „бѣлою костью", какъ говорятъ киргизы, и на этомъ основаніи можемъ обращаться съ другими, какъ намъ вздумается? Наше простое чувство равенства возмущается при этой мысли.

Равенство во взаимныхъ отношеніяхъ и вытекающая изъ него солидарность - вотъ самое могучее оружіе животнаго міра въ борьбѣ за существованіе. Равенство, это — справедливость.

Объявляя себя анархистами, мы заранѣе тѣмъ самымъ заявляемъ, что мы отказываемся обращаться съ другими такъ, какъ не хотѣли бы чтобъ другіе обращались съ нами; что мы не желаемъ больше терпѣть неравенства, которое позволяло бы нѣкоторымъ изъ насъ пользоваться своею силою, своею хитростью или смышленностью въ ущербъ намъ. Равенство во всемъ — синонимъ справедливости. Это и есть анархія. Мы отвергаемъ бѣлую кость, которая считаетъ себя въ правѣ пользоваться простотою другихъ. Намъ она не нужна, и мы съумѣемъ уравнять ее.

Становясь анархистами, мы объявляемъ войну не только отвлеченной троицѣ: закона, религіи и власти. Мы вступаемъ въ борьбу со всѣмъ этимъ грязнымъ потокомъ обмана, хитрости, эксплуатаціи, развращенія, порока — со всѣми видами неравенства, которые влиты въ наши сердца. управителями религіею и закономъ Мы объявляемъ войну ихъ способу дѣйствовать, ихъ формѣ мышленія. Управляемый, обманываемый, эксплуатируемый, проститутка и т. д. оскорбляютъ прежде всего наше чувство

равенства. Во имя Равенства мы хотимъ, чтобъ не было больше ни проституціи, ни эксплуатаціи, ни обманываемыхъ, ни управляемыхъ.

Намъ скажутъ, можетъ быть, — такъ говорили не разъ: „но если вы думаете, что всегда нужно обращаться съ другими такъ, какъ вы хотите, чтобы съ вами обращались, — то покакому праву прибѣгнете вы къ силѣ въ какомъ бы то ни было случаѣ? По какому праву направите вы свои пушки противъ варваровъ, или цивилизованной націи, вторгающихся въ вашу родину? По какому праву станете вы отнимать собственность у эксплуататора? По какому праву убивать, не только тирана, но даже простую змѣю?“

По какому праву? Но что хотите вы сказать этимъ туманнымъ словомъ, — „право“, — заимствованнымъ у законниковъ?

Можетъ быть, вы хотите спросить: — буду-ли я сознавать, что хорошо поступилъ, поступивши такимъ образомъ? и одобрятъ-ли мой поступокъ тѣ, кого я уважаю? Это, что-ли, вы спрашиваете? Если такъ, то отвѣтъ будетъ очень простъ.

Да, конечно, да! Потому что мы требуемъ, чтобы насъ убили, насъ самихъ, какъ ядовитую змѣю, если мы пойдемъ вторгаться въ чужую страну, въ Маньчжурію или къ Зулусамъ, которые намъ никогда не дѣлали никакого зла. Мы говоримъ нашимъ сыновьямъ, нашимъ друзьямъ: убей меня, если я когда нибудь пристану къ партіи завоевателей.

Конечно, да! Потому что — если бы когда нибудь, измѣняя нашимъ принципамъ, мы завладѣли наслѣдствомъ, (хотя бы оно упало съ неба) съ цѣлью употребить его на эксплуатацію другихъ, — мы хотѣли-бы, чтобъ оно было отнято у насъ.

Конечно, да, потому что дѣйствительно искренній человѣкъ заранѣе потребуетъ, чтобъ его убили, если онъ станетъ ядовитою змѣею — чтобъ его поразили кинжа-

ломъ, еслибъ онъ когда бы то ни было вздумалъ занять мѣсто свергнутаго тирана.

Изъ ста человѣкъ, имѣющихъ жену и дѣтей, навѣрно найдется девяносто, которые, чувствуя приближеніе сумасшествія, (т. е. потерю контроля мозговыхъ центровъ надъ поступками), постараются покончить съ собою, изъ страха, чтобъ въ припадкѣ безумія не причинить какого нибудь зла тѣмъ, кого они любятъ. Всякій разъ, когда истинно хорошій человѣкъ чувствуетъ, что онъ становится опасенъ своимъ близкимъ, онъ предпочитаетъ смерть.

Разъ какъ-то, въ Иркутскѣ, бѣшеная собаченка укусила мѣстнаго фотографа и одного ссыльнаго польскаго доктора. Фотографъ выжегъ себѣ рану раскаленнымъ желѣзомъ, докторъ же ограничился легкимъ прижиганіемъ. Онъ былъ молодъ, красивъ, полонъ жизни. Онъ только-что вышелъ изъ каторги, куда былъ сосланъ русскимъ правительствомъ за свою преданность народному дѣлу. Чувствуя силу своего знанія и своего недюжиннаго ума, онъ лѣчилъ съ удивительнымъ успѣхомъ. Больные обожали его.

Шесть недѣль спустя, онъ видитъ, что укушенная рука начинаетъ пухнуть. Онъ самъ былъ докторъ и понималъ, что̀ это значитъ: начиналась болѣзнь, кончающаяся бѣшенствомъ. Онъ бѣжитъ къ своему другу, — тоже доктору, тоже ссыльному. — „Скорѣй, прошу тебя, стрихнина! Ты видишь эту опухоль, ты понимаешь, что̀ это значитъ? Черезъ часъ, можетъ быть раньше, начнется бѣшенство, я буду стараться тебя укусить, друзей — не теряй времени! Давай стрихнинъ: надо умирать“.

Онъ чувствовалъ, что становится ядовитою змѣею: онъ просилъ чтобъ его убили.

Его другъ не рѣшался. Онъ хотѣлъ попытать лѣченіе. Вдвоемъ, съ одною смѣлою женщиною, они взялись ухаживать за больнымъ... и черезъ часъ или два докторъ, съ пѣною у рта бросался на нихъ, стараясь ихъ укусить;

потомъ приходилъ въ себя, требовалъ стрихнина — и снова впадалъ въ бѣшенство. Онъ умеръ въ ужасныхъ мученіяхъ.

Сколько подобныхъ фактовъ мы могли бы привести, основываясь на одномъ собственномъ жизненномъ опытѣ. Хорошій, честный человѣкъ предпочитаетъ самъ умереть, чѣмъ стать причиною несчастія для другихъ.

И вотъ почему онъ будетъ сознавать, что хорошо поступилъ и что заслужитъ одобреніе тѣхъ, кого онъ уважаетъ, если онъ убьетъ ядовитую змѣю или тирана.

Перовская и ея друзья убили русскаго царя, Александра II. И, несмотря на свое прирожденное отвращеніе къ пролитію крови, несмотря на нѣкоторую симпатію къ человѣку, допустившему освобожденіе крѣпостныхъ, — человѣчество признало за революціонерами это право. —Почему? Не потому, что бы оно считало это *полезнымъ*: громадное большинство сомнѣвается въ пользѣ этого убійства, — но потому, что оно почувствовало, что ни за какіе милліоны въ мірѣ Перовская и ея друзья не согласились бы стать сами самодержцами и тиранами на царское мѣсто. Даже тѣ, кто не знаетъ всей драмы этого убійства, почувствовали однако, что оно не было дѣломъ юношескаго задора, не было дворцовымъ переворотомъ, не было сверженіемъ власти для захвата ея къ свои руки. Руководителемъ была здѣсь ненависть къ тираніи, доходящая до самоотверженія, до презрѣнія смерти.

„Эти люди дѣйствительно имѣли право отнять у него жизнь“, — таковъ былъ общій приговоръ; точно такъ же какъ о Луизѣ Мишель говорили во Франціи: „*Она* имѣла право войти въ булочную и раздавать хлѣбъ народу“. Или же: „*они* могли устроить грабежъ“, говорили о террористахъ, которые сами довольствовались коркою хлѣба, когда вели подкопъ подъ кишиневское казначейство и, рискуя погибнуть сами, принимали всѣ мѣры, чтобы не пала какъ-нибудь отвѣтственность на часового.

Право прибѣгать къ силѣ, человѣчество признаетъ за тѣми, кто завоевалъ это право. Для того, чтобы актъ насилія произвелъ глубокое впечатлѣніе на умы, нужно всегда завоевать это право цѣною своего прошлаго. Иначе, всякій актъ насилія, окажется ли онъ полезнымъ или нѣтъ, останется простымъ насиліемъ, не имѣющимъ вліянія на прогрессъ человѣческой мысли. Человѣчество увидитъ въ немъ простую перестановку силъ: смѣщеніе одного эксплуататора, или одного управителя, для замѣны его другимъ.

VII.

До сихъ поръ мы все время говорили о сознательныхъ поступкахъ человѣка — о тѣхъ поступкахъ, въ которыхъ мы отдаемъ себѣ отчетъ. Но рядомъ съ сознательною жизнью въ насъ идетъ жизнь безсознательная, несравненно обширнѣе первой и на которую прежде мало обращали вниманія. Достаточно однако присмотрѣться къ тому, какъ мы одѣваемся утромъ, стараясь застегнуть пуговицу, которая, мы знаемъ, оборвалась наканунѣ, или же, какъ мы протягиваемъ руку къ какой нибудь вещи, которую мы сами передъ тѣмъ переставили,—достаточно присмотрѣться къ такимъ мелочамъ, чтобы понять, какую роль безсознательная жизнь играетъ въ нашемъ существованіи.

Громадньйшая доля нашихъ отношеній къ другимъ людямъ опредѣляется нашею безсознательною жизнью. Манера говорить, улыбаться, хмурить брови, горячиться въ спорахъ или сохранять спокойствіе—все это, разъ оно усвоено, мы продолжаемъ дѣлать, не отдавая себѣ отчета, въ силу привычки, либо унаслѣдованной отъ нашихъ предковъ, — людей и животныхъ, (вспомните только, какъ

похожи другъ на друга выраженія человѣка и животнаго, когда они сердятся), либо пріобрѣтенной, иногда сознательно, иногда нѣтъ.

Такимъ образомъ наше обращеніе съ другими переходитъ у насъ въ привычку. И человѣкъ, который пріобрѣтетъ больше *нравственныхъ привычекъ*, будетъ, конечно, стоять выше того христіанина, который говоритъ о себѣ, что діаволъ вѣчно толкаетъ его на зло, и что онъ избавляется отъ искушенія, только вспоминая о мукахъ ада и радостяхъ райской жизни.

Поступать съ другими такъ, какъ онъ хотѣлъ бы, чтобъ поступали съ нимъ, переходитъ въ *привычку* у человѣка и у всѣхъ общительныхъ животныхъ; обыкновенно, человѣкъ даже не спрашиваетъ себя, какъ поступить въ данномъ случаѣ. Не вдаваясь въ долгія размышленія, онъ поступаетъ хорошо или худо. Только въ исключительныхъ случаяхъ, въ какомъ нибудь сложномъ дѣлѣ, или же когда имъ овладѣваетъ жгучая страсть, идущая наперекоръ установившейся жизни, онъ колеблется, и тогда отдѣльныя части его мозга вступаютъ въ борьбу (мозгъ — очень сложный органъ, котораго отдѣльныя части работаютъ до извѣстной степени самостоятельно).

Тогда человѣкъ ставитъ себя въ своемъ воображеніи на мѣсто другого человѣка; онъ себя спрашиваетъ, пріятно ли ему было бы, еслибъ съ нимъ поступили такъ-то; и чѣмъ лучше онъ отождествитъ себя съ тѣмъ, котораго достоинство или интересы онъ едва не нарушилъ, тѣмъ нравственнѣе будетъ его рѣшеніе. Или же въ дѣло вступится пріятель и скажетъ: „поставь себя на его мѣсто; развѣ ты позволилъ бы, чтобы съ тобою обращались такъ, какъ ты сейчасъ поступилъ?“ И этого бываетъ достаточно.

Призывъ къ принципу равенства дѣлается, такимъ образомъ, только въ минуту колебанія. А въ девяностодевяти случаяхъ изъ ста мы поступаемъ нравственно въ силу простой привычки.

Какъ видно, во всемъ, что мы до сихъ поръ сказали, мы ничего не старались *предписывать*. Мы только *излагали* то, что происходитъ въ мірѣ животныхъ и среди людей.

Въ былыя времена Церковь стращала людей, чтобъ заставить ихъ быть нравственными, — извѣстно, съ какимъ успѣхомъ: угрожая, она развращала людей. Судья грозилъ пыткою, кнутомъ, висѣлицей, — все во имя тѣхъ самыхъ принциповъ общественности, которые онъ подтасовывалъ, себѣ на пользу—и развращалъ общество. И по сію пору всевозможные сторонники власти приходятъ въ ужасъ при одной мысли, что, вмѣстѣ съ духовенствомъ, исчезнутъ вдругъ съ лица земли и судьи.

Но мы ничуть не боимся отказаться отъ судьи и его наказаній. Вмѣстѣ съ французскимъ философомъ, М. Гюйо, мы даже отказываемся отъ всякаго утвержденія свыше для нравственности и отъ признанія за нею обязательности.

Намъ не страшно сказать: „дѣлай что хочешь, дѣлай какъ хочешь“ — потому что мы увѣрены, что громадная масса людей, по мѣрѣ того, какъ они будутъ развиваться и освобождаться отъ старыхъ путъ, будутъ поступать такъ, какъ лучше будетъ для общества; все равно, какъ мы заранѣе увѣрены, что ребенокъ будетъ ходить на двухъ ногахъ, а не на четверенькахъ, потому что онъ принадлежитъ къ породѣ, называемой Человѣкомъ.

Все что мы можемъ сдѣлать, это — дать совѣтъ; но и тутъ мы прибавляемъ: „этотъ совѣтъ будетъ имѣть для тебя цѣну только тогда, когда ты самъ, изъ опыта и наблюденія, убѣдишься, что онъ вѣренъ“.

Когда мы видимъ, что молодой человѣкъ горбится, и тѣмъ сжимаетъ себѣ грудь и легкіе, мы ему совѣтуемъ смѣло поднять голову и держать грудь широко открытою. Мы ему совѣтуемъ вдыхать воздухъ полными легкими, упражнять ихъ, потому что въ этомъ — лучшая гарантія противъ чахотки. Но въ тоже время мы не забываемъ

учить его физіологіи, чтобы онъ зналъ отправленія легкихъ и самъ могъ бы понять, какъ ему лучше держаться.

Это — все, что мы можемъ сдѣлать и въ области нравственности. Мы только можемъ дать совѣтъ, не забывая впрочемъ прибавить: „слѣдуй ему, если ты одобришь его“.

Но, предоставляя каждому поступать, какъ онъ найдетъ лучшимъ, и отрицая право общества наказывать кого бы то ни было за противообщественные поступки, мы не отказываемся отъ нашей способности любить то, что мы находимъ хорошимъ, и выражать эту любовь, и ненавидѣть то, что мы находимъ дурнымъ, и выражать эту ненависть. Любить — и ненавидѣть, потому что только тотъ умѣетъ любить, кто умѣетъ ненавидѣть. Любовь и ненависть — это мы удерживаемъ, и такъ какъ этого совершенно достаточно животнымъ обществамъ для того, чтобы сохранять и развивать въ своей средѣ нравственныя чувства, то тѣмъ болѣе этого достаточно для человѣческаго рода.

Мы требуемъ только одного, — устранить все то, что въ теперешнемъ обществѣ мѣшаетъ свободному развитію этихъ двухъ чувствъ: устранить Государство, Церковь, Эксплуатацію; судью, священника, правительство, эксплуататора.

Теперь, когда мы узнаемъ, что лондонскій убійца, „Джакъ Рипперъ“, въ нѣсколько недѣль зарѣзалъ десять женщинъ изъ самаго бѣднаго и жалкаго класса — нравственно неуступающихъ многимъ добродѣтельнымъ буржуазкамъ, — нами прежде всего овладѣваетъ чувство злобы. Если бы мы его встрѣтили въ тотъ день, когда онъ зарѣзалъ несчастную женщину, надѣявшуюся получить отъ него четвертакъ, чтобы заплатить за свою квартиру, изъ которой ее выгоняли, мы бы всадили ему пулю въ голову, не подумавъ даже о томъ, что пуля была бы болѣе на своемъ мѣстѣ въ головѣ домохозяина этой квартиры-берлоги.

Но когда мы вспоминаемъ обо всѣхъ безобразіяхъ, которыя довели Джака до этихъ убійствъ; когда мы вспоминаемъ о тьмѣ, въ которой онъ бродилъ, преслѣдуемый образами, навѣянными на него грязными книгами, или мыслями, почерпнутыми изъ нелѣпыхъ сочиненій—когда мы вспоминаемъ все это, наше чувство двоится. И въ тотъ день, когда мы узнаемъ, что Джакъ находится въ рукахъ судьи, который самъ умертвилъ больше мужчинъ, женщинъ и дѣтей, чѣмъ всѣ Джаки; когда мы узнаемъ, что онъ находится въ рукахъ у этихъ спокойныхъ помѣшанныхъ, которые не задумываются послать невиннаго на каторгу, чтобъ показать буржуа, что они охраняютъ ихъ — тогда вся наша злоба противъ Джака исчезаетъ. Она переносится на другихъ — на общество, подлое и лицемѣрное, на его офиціальныхъ представителей. Всѣ безобразія всѣхъ Джаковъ исчезаютъ передъ этою вѣковою цѣпью безобразій, совершаемыхъ во имя Закона. Его, это общество, мы дѣйствительно ненавидимъ.

Теперь, наше чувство постоянно двоится. Мы чувствуемъ, что всѣ мы, болѣе или менѣе, вольно или невольно, являемся сообщниками этого общества. Мы не смѣемъ ненавидѣть. Осмѣливаемся ли мы даже любить? Въ обществѣ, основанномъ на эксплуатаціи и подчиненіи, натура человѣческая мельчаетъ.

Но, по мѣрѣ исчезновенія рабства и подчиненія, мы постепенно станемъ тѣмъ, чѣмъ мы должны быть. Мы почувствуемъ въ себѣ силу любить и ненавидѣть,—даже въ такихъ запутанныхъ случаяхъ, какъ только что приведенный.

Въ нашей повседневной жизни, мы и теперь уже даемъ нѣкоторую свободу выраженію нашихъ чувствъ симпатіи или антипатіи; мы безпрестанно это дѣлаемъ. Всѣ мы любимъ нравственную мощь и презираемъ нравственную слабость, трусость. Безпрестанно, наши слова, наши взгляды, наши улыбки, выражаютъ, что мы радуемся при видѣ поступковъ, полезныхъ для человѣческаго

рода, — тѣхъ поступковъ, которые мы называемъ хорошими. И безпрестанно мы выражаемъ отвращеніе, внушаемое намъ трусостью, обманомъ, мелочными интригами, недостаткомъ нравственнаго мужества. Мы не можемъ скрыть нашего отвращенія, даже тогда, когда, подъ вліяніемъ привитыхъ намъ воспитаніемъ „хорошихъ манеръ“, — т. е. лицемѣрія, — мы стараемся замаскировать свои чувства лживыми пріемами, которые исчезнутъ съ установленіемъ между нами отношеній, основанныхъ на равенствѣ.

Одного этого уже достаточно, чтобъ удерживать на извѣстной высотѣ понятіе о добрѣ и злѣ, и внушать это понятіе другъ-другу. Но тѣмъ болѣе будетъ этого достаточно тогда, когда общество освободится отъ судей и поповъ, и вслѣдствіе этого, нравственные принципы, потерявши характеръ обязательности, будутъ разсматриваться какъ простыя естественныя отношенія равныхъ съ равными.

А тѣмъ временемъ, по мѣрѣ установленія этихъ обыденныхъ отношеній, въ обществѣ вырабатывается новое, болѣе возвышенное представленіе о нравственности. Его мы и разберемъ теперь.

VIII.

До сихъ поръ, во всѣхъ нашихъ разсужденіяхъ, мы излагали простыя начала Равенства. Мы возставали сами, и предлагали другимъ возставать противъ тѣхъ, кто присвоиваетъ себѣ право обращаться съ людьми такъ, какъ они отнюдь бы не захотѣли, чтобы обращались съ ними; противъ тѣхъ, кто не хочетъ допускать относительно себя ни обмана, ни эксплуатаціи, ни грубости, ни насилія, но все это допускаетъ по отношенію къ другимъ.

Ложь, грубость и т. д. отвратительны не потому, говорили мы, что ихъ осуждаютъ своды законовъ: цѣна этихъ сводовъ намъ всѣмъ извѣстна; они отвратительны потому, что ложь, грубость, насиліе и пр. возмущаютъ наше *чувство равенства*, если только Равенство, для насъ, не пустой звукъ. Они особенно возмущаютъ того, кто дѣйствительно остается анархистомъ въ своемъ образѣ мыслей и въ своей жизни.

Но уже одно это начало Равенства — такое простое, естественное и очевидное начало — еслибъ только его всегда прилагали въ жизни — создало бы очень высокую нравственность, обнимающую собою все, что когда либо преподавали проповѣдники нравственности.

Принципъ равенства обнимаетъ собою всѣ ученія моралистовъ. Но онъ содержитъ еще нѣчто большее. И это нѣчто есть *уваженіе къ личности*. Провозглашая нашъ анархическій нравственный принципъ равенства, мы тѣмъ самымъ отказываемся присвоивать себѣ право, на которое всегда претендовали проповѣдники нравственности — право ломать человѣческую природу, во имя какого бы то ни было нравственнаго идеала. Мы ни за кѣмъ не признаемъ этого права; мы не хотимъ его и для себя.

Мы признаемъ полнѣйшую свободу личности. Мы хотимъ полноты и цѣльности ея существованія, свободы развитія всѣхъ ея способностей. Мы не хотимъ ничего ей навязывать, и возвращаемся такимъ образомъ къ принципу, который Фурье противупоставлялъ нравственности религій, когда говорилъ: „Оставьте людей совершенно свободными; не уродуйте ихъ—религіи уже достаточно изуродовали ихъ. Не бойтесь даже ихъ страстей; въ обществѣ *свободномъ* онѣ будутъ совершенно безопасны".

Лишь бы вы сами не отказывались отъ своей свободы; лишь бы вы сами не давали себя поработить другимъ, и буйнымъ, противуобщественнымъ страстямъ той или другой личности вы противуставляли бы ваши, столь же сильныя страсти. Тогда вамъ нечего будетъ бояться свободы. *)

Мы отказываемся уродовать личность во имя какого бы то ни было идеала; все, что мы позволяемъ себѣ, — это искренно и откровенно выражать наши симпатіи и антипатіи къ тому, что мы считаемъ хорошимъ или дурнымъ. Такой-то обманываетъ своихъ друзей? Такова его воля, его характеръ? Пусть такъ! Но *нашъ* характеръ, *наша* воля—презирать обманщика! И разъ таковъ нашъ характеръ, будемъ искренни. Не будемъ

*) Изъ всѣхъ современныхъ авторовъ, наилучше формулировалъ эти идеи норвежецъ Ибсенъ, въ своихъ драмахъ. Самъ того не зная, онъ тоже анархистъ.

ему бросаться на встрѣчу, чтобъ прижать его къ нашей жилеткѣ; не будемъ дружески пожимать ему руку,—какъ это дѣлается теперь! Его активной страсти противупоставимъ нашу, такую же активную и сильную страсть—ненависть ко лжи и обману.

Вотъ все, что мы можемъ и должны сдѣлать для насажденія и поддержанія въ обществѣ принципа равенства. Это все тотъ же принципъ равенства, приложенный къ жизни. *)

Все это, конечно, будетъ вполнѣ осуществляться лишь тогда, когда перестанутъ существовать главныя причины развращенія: капитализмъ, религія, правосудіе, правительство. Но до извѣстной степени это можетъ уже дѣлаться и теперь. И это уже дѣлается.

А между тѣмъ, если бы люди знали одинъ только принципъ Равенства, еслибы каждый, руководясь однимъ только принципомъ торговой справедливости и всегда равнаго обмѣна, постоянно думалъ бы, какъ бы не дать другимъ больше того, что самъ получишь отъ нихъ, — это была бы смерть общества.

Самый принципъ равенства тогда исчезъ бы изъ нашихъ отношеній, такъ какъ для поддержанія его необходимо, чтобы въ жизни постоянно существовало нѣчто большее, болѣе прекрасное, болѣе сильное, чѣмъ простая справедливость.

И это нѣчто дѣйствительно существуетъ.

До настоящаго времени въ человѣчествѣ никогда не было недостатка въ великихъ сердцахъ, полныхъ, съ избыткомъ, нѣжности, ума, или воли; и эти люди расточали свое чувство, свой разумъ и свою активную силу на служеніе человѣчеству, ничего не требуя себѣ въ замѣнъ.

*) Мы уже слышимъ голоса: — «А убійца? А тотъ, кто растлѣваетъ дѣтей?» На это нашъ отвѣтъ коротокъ: Убійца, убивающій просто изъ жажды крови, чрезвычайно рѣдокъ. Это больной, котораго надо, или лѣчить или избѣгать. Что же касается до развратника, — то постараемся сначала, чтобъ общество не растлѣвало чувствъ нашихъ дѣтей, — тогда намъ нечего будетъ бояться этихъ господъ.

Плодотворность ума, чувствительности, или воли принимаетъ всѣ возможныя формы. Это можетъ быть страстный искатель истины, отказывающійся отъ всѣхъ другихъ удовольствій въ жизни и всецѣло отдающійся исканію того, что, вопреки утвержденію окружающихъ его невѣждъ, онъ считаетъ истиною и справедливостью. Или же это — изобрѣтатель, перебивающійся кое какъ изо дня въ день, забывающій даже о ѣдѣ и едва прикасающійся къ пищѣ, которою преданная ему женщина кормитъ его, какъ ребенка, въ то время какъ онъ поглощенъ своимъ изобрѣтеніемъ, которому суждено, — думаетъ онъ — перевернуть весь міръ. Или же это—пламенный революціонеръ, для котораго наслажденія искусствомъ, наукою и даже семейныя радости кажутся невозможными, пока они не раздѣляются всѣми, и который работаетъ надъ пересозданіемъ міра, несмотря на нищету и гоненія. Или, наконецъ, это — юноша, который, слушая разсказы объ ужасахъ непріятельскаго вторженія и понимая буквально патріотическія легенды, нашептываемыя ему, — записывается въ отрядъ добровольцевъ, и идетъ съ отрядомъ, по колѣни въ снѣгу, голодаетъ и, наконецъ, падаетъ подъ пулями.

Или же это, можетъ быть, уличный Парижскій мальчишка, надѣленный болѣе свободнымъ умомъ и лучше умѣющій разобраться въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ; онъ идетъ, вмѣстѣ со своимъ младшимъ братомъ, защищать баррикады Коммуны, остается тамъ подъ градомъ снарядовъ и пуль, и умираетъ, шепча: „да здравствуетъ Коммуна!“ Это человѣкъ, возмущающійся при видѣ всякой неправды и изобличающій ее; въ то время, какъ всѣ гнутъ спину, онъ, не задумываясь надъ послѣдствіями, поражаетъ эксплуататора, мелкаго тирана на фабрикѣ, или же болѣе крупнаго тирана цѣлаго государства. Это, наконецъ, — всѣ тѣ безчисленные люди, которые совершаютъ въ своей жизни акты самоотверженія, менѣе яркіе и потому мало извѣстные, почти всегда недостаточно оцѣненные, но которыхъ мы посто-

янно встрѣчаемъ, особенно среди женщинъ, если только даемъ себѣ трудъ присмотрѣться къ тому, что составляетъ основу жизни человѣчества, что помогаетъ ему, такъ или иначе, выпутываться изъ невзгодъ и бороться съ тяготѣющими надъ нимъ эксплуатаціею и угнетеніемъ.

Эти люди куютъ, одни, — въ полумракѣ, въ неизвѣстности, другіе — на болѣе широкой аренѣ, истинный прогрессъ человѣчества. И человѣчество знаетъ это. Поэтому оно и окружаетъ ихъ жизнь уваженіемъ и поэзіей. Оно даже украшаетъ ее легендами и дѣлаетъ изъ нихъ героевъ своихъ сказокъ, своихъ пѣсень, своихъ романовъ. Оно любитъ въ нихъ отвагу, доброту, любовь, самоотверженіе, недостающіе большинству. Оно передаетъ память объ нихъ отъ отцовъ къ дѣтямъ.

Оно помнитъ даже тѣхъ, кто дѣйствовалъ лишь въ тѣсномъ кругѣ семьи и друзей, и чтитъ ихъ память въ семейныхъ преданіяхъ.

Эти люди создаютъ истинную нравственность, т. е. то, что одно слѣдовало бы называть этимъ именемъ, такъ какъ все остальное — простой обмѣнъ равнаго на равное, тогда какъ безъ этой отваги, безъ этой самоотверженности, человѣчество погрязло бы въ тинѣ мелочныхъ разсчетовъ. Эти люди, наконецъ, подготовляютъ нравственность будущаго, ту, которая станетъ обычною когда, переставши „считаться,“ наши дѣти будутъ расти въ той мысли, что лучшее примѣненіе всякой энергіи, всякой отваги, всякой любви — тамъ, гдѣ потребность въ этой силѣ всего больше.

Такая отвага и самоотверженность существовали во всѣ времена. Они встрѣчаются у всѣхъ животныхъ. Они встрѣчаются у человѣка, даже въ эпохи самаго сильнаго упадка общественной жизни.

И во всѣ времена религіи старались овладѣть этими качествами, какъ своимъ достояніемъ, и эксплуатировать ихъ въ свою собственную пользу, доказывая, что только религія способна создать такихъ; и если религіи живы

по сію пору, то по тому, что — помимо невѣжества — онѣ всегда, во всѣ времена взывали именно къ этой самоотверженности, къ этой отвагѣ. Къ нимъ же обращаемся и мы, революціонеры,—особенно революціонеры-соціалисты.

Что же касается до объясненія этой способности къ самопожертвованію, составляющей истинную сущность „нравственности", — то всѣ моралисты религіозные, утилитарные и другіе, — всѣ впадали по отношенію къ ней въ ошибки, нами уже отмѣченныя. Только молодой, французскій философъ, Гюйо, (въ сущности, — быть можетъ, не сознавая этого—онъ былъ анархистъ), указалъ на истинное происхожденіе этой отваги и этого самоотверженія. Оно стоитъ внѣ всякой связи съ какою бы то ни было мистическою силою или съ какими бы то ни было меркантильными разсчетами, неудачно придуманными англійскими утилитаристами. Тамъ гдѣ философія Канта, утилитаристовъ и эволюціонистовъ (Спенсеръ и др.) оказалась несостоятельной, анархическая философія вышла на истинный путь.

Въ основѣ этихъ проявленій человѣческой природы, писалъ Гюйо, лежитъ сознаніе своей собственной силы. Это—жизнь, бьющая черезъ край, стремящаяся проявиться. „То кровь кипитъ, то силъ избытокъ", говоря словами Лермонтова. „Чувствуя внутренно, что́ мы способны сдѣлать, говорилъ Гюйо, мы тѣмъ самымъ приходимъ къ сознанію, что́ мы должны сдѣлать".

Нравственное чувство долга, которое каждый человѣкъ испытывалъ въ своей жизни, и которое старались объяснить всевозможными мистическими причинами, становится понятнымъ. „Долгъ, говоритъ Гюйо, есть ничто иное, какъ избытокъ жизни, стремящійся перейти въ дѣйствіе, отдаться. Это въ то же время, чувство мощи".

Всякая сила, накопляясь, производитъ давленіе на препятствія, поставленныя ей. Быть въ состояніи дѣйствовать, это — быть обязаннымъ дѣйствовать. И все это нравственное „обязательство“, о которомъ такъ много писали и говорили, очищенное отъ всякаго мистицизма, сводится къ этому простому и истинному понятію: жизнь можетъ поддерживаться, лишь расточаясь.

„Растеніе не можетъ помѣшать себѣ цвѣсти. Иногда, цвѣсти, для него, — значитъ умереть. Пусть! соки все-таки будутъ подыматься!“ такъ заканчиваетъ молодой философъ-анархистъ свое замѣчательное изслѣдованіе.

Тоже и съ человѣкомъ, когда онъ полонъ силы и энергіи. Сила накопляется въ немъ. Онъ расточаетъ свою жизнь. Онъ даетъ, не считая. Иначе, онъ бы не жилъ. И если онъ долженъ погибнуть, какъ цвѣтокъ гибнетъ, разцвѣтая — пусть! Соки подымаются, если соки есть.

Будь силенъ! расточай энергію страстей и ума, чтобы распространить на другихъ твой разумъ, твою любовь, твою активную силу. Вотъ къ чему сводится все нравственное ученіе, освобожденное отъ лицемѣрія восточнаго аскетизма.

IX.

Чѣмъ любуется человѣчество въ истинно нравственномъ человѣкѣ? Это—его силой, избыткомъ жизненности, который побуждаетъ его отдавать свой умъ, свои чувства, свою жажду дѣйствія, ничего не требуя за это въ обмѣнъ.

Человѣкъ, сильный мыслью, человѣкъ преисполненный умственной жизни, непремѣнно стремится расточать ее. Мыслить—и не сообщать своей мысли другимъ, не имѣло бы никакой привлекательности. Только бѣдный мыслями человѣкъ, съ трудомъ напавши на новую ему мысль, тщательно скрываетъ ее отъ другихъ, съ тѣмъ, чтобы со временемъ наложить на нее клеймо своего имени. Человѣкъ же сильный умомъ, не дорожитъ своими мыслями, онъ щедро сыплетъ ихъ во всѣ стороны. Онъ страдаетъ, если не можетъ раздѣлить съ другими свои мысли, разсѣять ихъ на всѣ четыре стороны. Въ томъ его жизнь.

То же и относительно чувства. — „Намъ мало насъ самихъ: у насъ больше слезъ, чѣмъ сколько ихъ нужно для нашихъ личныхъ страданій, больше радостей въ запасѣ, чѣмъ сколько требуетъ ихъ наше собственное

существованіе", говорилъ Гюйо, резюмируя такимъ образомъ весь вопросъ нравственности въ нѣсколькихъ строкахъ — такихъ вѣрныхъ, взятыхъ прямо изъ жизни. Одинокое существо страдаетъ, оно впадаетъ въ какое то безпокойство, потому что не можетъ раздѣлить съ другими своей мысли, своихъ чувствъ. Когда испытываешь большое удовольствіе, хочется дать знать другимъ, что существуешь, что чувствуешь, что любишь, что живешь, что борешься, что воюешь.

Точно также мы чувствуемъ необходимость проявлять свою волю, свою активную силу. Дѣйствовать, работать, — стало потребностью для огромнаго большинства людей; до того, что, когда нелѣпыя условія лишаютъ человѣка полезной работы, онъ выдумываетъ работы, обязанности, ничтожныя и безсмысленныя, чтобъ открыть хоть какое нибудь поле дѣятельности для своей активной силы. Онъ придумываетъ все, что попало: создаетъ каку юнибудь теорію, религію или „общественныя обязанности" — лишь бы только убѣдить себя, что и онъ дѣлаетъ что-то нужное. Когда такіе господа танцуютъ — они это дѣлаютъ ради благотворительности; когда раззоряются на наряды — то „ради поддержанія аристократіи на подобающей ей высотѣ"; когда совсѣмъ ничего не дѣлаютъ — то изъ принципа.

„Мы постоянно чувствуемъ потребность помочь другимъ, подпереть плечемъ повозку, которую съ такимъ трудомъ тащитъ человѣчество, или, по крайней мѣрѣ, хоть пожужжать вокругъ", говоритъ Гюйо. Эта потребность — помочь хоть чѣмъ нибудь — такъ велика, что мы находимъ ее у всѣхъ общественныхъ животныхъ, на какой бы низкой ступени развитія они не стояли. А вся та громадная сумма дѣятельности, которая такъ безполезно растрачивается каждый день въ политикѣ, — что это, какъ не потребность подпереть плечемъ повозку, или хоть пожужжать вокругъ нея?

Безспорно, если этой „плодовитости воли", этой жаждѣ

дѣятельности, сопутствуютъ только бѣдная чувствительность и слабый умъ, неспособный къ творчеству, тогда получится только какой-нибудь Наполеонъ I или Бисмаркъ — т. е. маніаки, хотѣвшіе заставить міръ пойти вспять. Съ другой стороны, плодовитость ума, если она не сопровождается высоко-развитою чувствительностью, даетъ пустоцвѣты — тѣхъ ученыхъ, напримѣръ, которые только задерживаютъ прогрессъ науки. И наконецъ, чувствительность, неруководимая достаточно обширнымъ умомъ, дастъ, напримѣръ, женщину, готовую всѣмъ пожертвовать какому нибудь негодяю, на котораго она изливаетъ всю свою любовь.

Чтобъ быть дѣйствительно плодотворной, жизнь должна изобиловать одновременно умомъ, чувствомъ и волей. Но такая плодотворность, во всѣхъ направленіяхъ, и есть *жизнь*: единственное, что заслуживаетъ этого названія. За одно мгновеніе такой жизни, тѣ, кто разъ испыталъ ее, отдаютъ годы растительнаго существованія. Тотъ, у кого нѣтъ этого изобилія жизни, тотъ — существо, состарившееся раньше времени, разслабленное; засыхающее, неразцвѣтши, растеніе.

„Оставимъ отживающей гнили, эту жизнь, которую нельзя назвать жизнью“, восклицаетъ юность, — истинная юность, полная жизненныхъ силъ, стремящаяся жить и сѣять жизнь вокругъ себя. И всякій разъ, какъ общество начнетъ разлагаться, напоръ этой юности разбиваетъ старыя формы, экономическія, политическія и нравственныя, чтобы дать просторъ новой жизни. Пусть тотъ или другой падетъ въ борьбѣ! Соки все таки будутъ подыматься! Для сильныхъ людей, жить, значитъ цвѣсти, каковы бы тамъ ни были послѣдствія расцвѣта! Они плакаться не станутъ.

Но, оставляя въ сторонѣ героическія эпохи въ жизни человѣчества, и беря только каждодневную жизнь — развѣ это жизнь, когда живешь въ разладѣ съ своимъ идеаломъ?

Въ наши дни часто приходится слышать насмѣшливое отношеніе къ идеаламъ. Это понятно. Идеалы такъ часто смѣшивали съ ихъ буддійскими или христіанскими искаженіями; этимъ словомъ такъ часто пользовались, чтобы обманывать наивныхъ, что реакція была неизбѣжна и даже благотворна. Намъ тоже хотѣлось бы замѣнить это слово «идеалъ», затасканное въ грязи, новымъ словомъ, болѣе согласнымъ съ новыми воззрѣніями.

Но, каково бы ни было *слово*, фактъ остается на лицо: каждое человѣческое существо имѣетъ свой идеалъ. Бисмаркъ имѣлъ свой идеалъ — какъ бы ни былъ онъ фантастиченъ: такъ какъ сводился на управленіе людьми огнемъ и мечемъ. Каждый мѣщанинъ-обыватель имѣетъ свой идеалъ — хотя бы, напримѣръ, имѣть серебрянную ванну, какъ имѣлъ Гамбетта, или имѣть въ услуженіи извѣстнаго повара Тромпетта, — и много, премного рабовъ, чтобы они оплачивали, не морщась, и ванну, и повара, и много другой всякой всячины.

Но рядомъ съ этими господами, есть другіе люди, — люди, постигшіе высшіе идеалы. Скотская жизнь ихъ не удовлетворяетъ. Раболѣпіе, ложь, недостатокъ честности, интриги, неравенство въ людскихъ отношеніяхъ возмущаютъ ихъ. Могутъ ли такіе люди, въ свою очередь, стать раболѣпными, лгунишками, интриганами, поработителями? Они понимаютъ чувствомъ, какъ прекрасна могла бы быть жизнь, еслибы между всѣми установились лучшія отношенія. Они чувствуютъ въ себѣ достаточно силъ, чтобъ самимъ, по крайней мѣрѣ, установить лучшія отношенія съ тѣми, кого они встрѣтятъ на своемъ пути. Они постигли, прочувствовали то, что мы называемъ идеаломъ.

Откуда явился этотъ идеалъ? Какъ вырабатывается онъ — преемственностью съ одной стороны, и суммою впечатлѣній жизни съ другой? Мы едва знаемъ, какъ идетъ эта выработка. Самое большее, если мы сможемъ, когда напишемъ біографію человѣка, жившаго ради идеала,

разсказать приблизительно вѣрную исторію его жизни. Но идеалъ существуетъ. Онъ мѣняется, онъ совершенствуется, онъ открытъ всякимъ внѣшнимъ вліяніямъ, но всегда онъ живетъ. Это — наполовину безсознательное чувствованіе того, что даетъ намъ наибольшую сумму жизненности, наибольшую радость бытія.

И жизнь только тогда бываетъ мощная, плодотворная, богатая сильными ощущеніями, когда она отвѣчаетъ этому чувству идеала. Поступайте *наперекоръ* ему, и вы почувствуете, что ваша жизнь двоится; въ ней уже нѣтъ цѣльности, она теряетъ свою мощность. Начните часто измѣнять вашему идеалу — и вы кончите тѣмъ, что ослабите вашу волю, вашу способность дѣйствовать. По немногу вы почувствуете, что въ васъ уже нѣтъ той силы, той непосредственности въ рѣшеніяхъ, которую вы знали въ себѣ раньше. Вы — надломленный человѣкъ.

Все это — очень понятно. Ничего въ этомъ нѣтъ таинственнаго, разъ мы разсматриваемъ человѣка, какъ состоящаго изъ дѣйствующихъ до нѣкоторой степени независимо другъ отъ друга, нервныхъ и мозговыхъ центровъ. Начните постоянно колебаться между различными чувствами, борящимися въ васъ, — и вы скоро нарушите гармонію организма; вы станете больнымъ, лишеннымъ воли человѣкомъ. Интенсивность жизни понизится, и сколько бы вы ни придумывали компромиссовъ, вы уже больше не будете тѣмъ цѣльнымъ, сильнымъ, мощнымъ человѣкомъ, какимъ вы были раньше, когда ваши поступки согласовались съ идеальными представленіями вашего мозга.

X.

А теперь упомянемъ, прежде чѣмъ закончить нашъ очеркъ, о двухъ терминахъ, *альтруизмѣ* и *эгоизмѣ*, постоянно употребляемыхъ современными моралистами.

До сихъ поръ, мы еще ни раза даже не упомянули этихъ словъ въ нашемъ очеркѣ. Это — потому, что мы не видимъ того различія, которое старались установить моралисты, употребляя эти два выраженія.

Когда мы говоримъ: „будемъ обращаться съ другими такъ, какъ хотимъ, чтобъ обращались съ нами“ — чему мы этимъ учимъ: эгоизму или альтруизму? Когда, идя дальше, мы говоримъ: „счастье каждаго тѣсно связано со счастьемъ всѣхъ окружающихъ его. Можно случайно имѣть нѣсколько лѣтъ относительнаго счастья въ обществѣ, основанномъ на несчастіи другихъ, но это счастье построенно на пескѣ. Оно не можетъ длиться; малѣйшей причины достаточно, чтобъ разбить его, и само оно ничтожно, мелко, въ сравненіи со счастьемъ, возможнымъ въ обществѣ равныхъ. Поэтому, каждый разъ, когда ты будешь имѣть въ виду благо всѣхъ, ты будешь поступать правильно“,—говоря такъ, что́ мы проповѣдуемъ: альтруизмъ или эгоизмъ? Мы просто констатируемъ фактъ.

И когда мы прибавляемъ затѣмъ, перефразируя слова Гюйо: „Будь силенъ, будь *великъ* во всѣхъ твоихъ поступкахъ; развивай свою жизнь во всѣхъ ея направленіяхъ; будь, насколько это возможно, богатъ энергіей, и для этого будь самымъ общественнымъ и самымъ общительнымъ существомъ, — *если* только ты желаешь наслаждаться полною, цѣльною и плодотворною жизнью. Постоянно руководясь широко развитымъ умомъ, борись, рискуй, — рискъ имѣетъ свои огромныя радости; смѣло бросай свои силы, давай ихъ, не считая, пока онѣ у тебя есть, на все то, что ты найдешь прекраснымъ и великимъ, — и тогда ты насладишься наибольшею суммою возможнаго счастья. Живи, *за одно* съ массами, и тогда, что бы съ тобой ни случилось въ жизни, ты будешь чувствовать, что за одно съ твоимъ бьются тѣ именно сердца, которыя ты уважаешь, а *противъ* тебя бьются тѣ, которыя ты презираешь. Когда мы это говоримъ, чему мы учимъ, —альтруизму или эгоизму?

Бороться, пренебрегать опасностью, бросаться въ воду для спасенья не только человѣка, но даже простой кошки, питаться черствымъ хлѣбомъ, чтобъ положить конецъ возмущающей васъ неправдѣ, чувствовать себя за одно съ тѣми, кто достоинъ любви, чувствовать себя любимымъ ими — все это, можетъ быть, и жертва для какого нибудь болѣзненнаго философа, въ родѣ Спенсера; но для человѣка полнаго энергіи, силы, мощи, юности, это — глубокое счастье, сознавать, что ты *живешь*.

Эгоизмъ это? Или альтруизмъ?

Вообще, моралисты, строящіе свои системы на мнимомъ противорѣчіи чувствъ эгоистическихъ и альтруистическихъ, идутъ по ложному пути. Еслибъ это противорѣчіе существовало въ дѣйствительности, еслибы благо индивида было противуположно благу общества, человѣческій родъ вовсе не могъ бы существовать; ни одинъ животный видъ не могъ бы достигнуть своего теперешняго развитія.

Еслибъ муравьи не находили, всѣ, сильнаго удовольствія въ общей работѣ на пользу муравейника, муравейникъ не существовалъ бы, и муравей не былъ бы тѣмъ, что онъ есть: онъ не представлялъ бы самаго развитаго изъ насѣкомыхъ, — насѣкомаго, мозгъ котораго, едва видный подъ увеличительнымъ стекломъ, почти такъ же могучъ, какъ средній мозгъ человѣка.

Еслибъ птицы не находили сильнаго удовольствія въ своихъ перелетахъ, въ заботахъ о воспитаніи своего потомства, въ общихъ дѣйствіяхъ на защиту своихъ обществъ отъ хищниковъ, онѣ никогда не достигли бы той ступени развитія, на которой мы ихъ видимъ теперь. Типъ птицы ретрогрессировалъ бы, ухудшался, вмѣсто того, чтобы совершенствоваться.

И когда Спенсеръ предвидитъ время, когда благо индивида *сольется* съ благомъ рода, онъ забываетъ одно: что еслибы оба *не были всегда тожественны*, самая эволюція животнаго міра не могла бы совершиться.

Что всегда было, во всѣ времена, это то, что всегда имѣлись въ мірѣ животномъ, какъ и въ человѣческомъ родѣ, большое число особей которыя *не понимали*, что благо индивида и благо рода по существу тожественны. Они не понимали, что цѣль каждаго индивида — жить интенсивною жизнью, и что эту наибольшую интенсивность жизни онъ находитъ въ наиболѣе полной общительности, въ наиболѣе полномъ отожествленіи себя самого со всѣми тѣми, кто его окружаетъ.

Но это былъ лишь недостатокъ пониманія, недостатокъ ума. Во всѣ времена были ограниченные люди; во всѣ времена были глупцы. Но никогда, ни въ какую эпоху исторіи, ни даже геологіи, благо индивида не было, и не могло быть, противуположно благу общества. Во всѣ времена они оставались тожественны, и тѣ, которые лучше другихъ это понимали, всегда жили наиболѣе полною жизнью.

Вотъ почему различіе между альтруизмомъ и эгоизмомъ, на нашъ взглядъ, не имѣетъ смысла. По той же причинѣ мы ничего не сказали и о тѣхъ *компромиссахъ*, которые человѣкъ, если вѣрить утилитаристамъ, всегда дѣлаетъ между своими эгоистическими чувствами и своими чувствами альтруистическими. Для убѣжденнаго человѣка, такихъ компромиссовъ не существуетъ.

Существуетъ только то, что дѣйствительно при современныхъ условіяхъ, даже тогда, когда мы стремимся жить согласно съ нашими принципами равенства, — мы чувствуемъ, какъ страдаютъ эти принципы на каждомъ шагу. Какъ бы ни были скромны наша ѣда и наша постель, мы все еще Ротшильды по сравненію съ тѣмъ, кто спитъ подъ мостомъ, и у кого такъ часто нѣтъ даже куска черстваго хлѣба. Какъ бы мало мы ни отдавали интеллектуальнымъ и артистическимъ наслажденіямъ, мы все еще Ротшильды по сравненію съ милліонами людей, которые возвращаются вечеромъ съ работы, обезсиленные своимъ ручнымъ трудомъ — однообразнымъ и тяжелымъ, — съ тѣми, которые не могутъ наслаждаться ни искусствомъ, ни наукой, и умрутъ, ни разу не испытавъ этихъ высокихъ наслажденій.

Мы чувствуемъ, что мы не до конца осуществили принципъ равенства. Но мы вовсе не хотимъ итти на *компромиссъ* съ этими условіями. Компромиссъ — полу-признаніе, полу-согласіе. Мы же возстаемъ противъ нихъ. Они намъ тягостны. Они дѣлаютъ насъ революціонерами. Мы не миримся съ тѣмъ, что насъ возмущаетъ. Мы отвергаемъ всякій компромиссъ — даже всякое перемиріе, и даемъ себѣ слово бороться до конца противъ этихъ условій.

Это не компромиссъ, и человѣкъ убѣжденный потому и отвергаетъ компромиссъ, который позволилъ бы ему спокойно дремать, въ ожиданіи, пока все само собою измѣнится къ лучшему.

И вотъ мы пришли къ концу нашего очерка нравственности.

Бываютъ эпохи, сказали мы, когда нравственное пониманіе совершенно мѣняется. Люди начинаютъ вдругъ замѣчать, что то, что они считали нравственнымъ, оказывается глубоко безнравственнымъ. Тутъ наталкиваются они на обычай, или на всѣми чтимое преданіе, — безнравственное, однако, по существу. Тамъ находятъ они мораль, созданную исключительно для выгоды одного класса. Тогда они бросаютъ и мораль, и преданіе, и обычай за бортъ и говорятъ: „Долой эту нравственность“ и считаютъ своимъ долгомъ, совершать безнравственные поступки.

И мы привѣтствуемъ такія времена. Это—времена суровой критики старыхъ понятій. Они самый вѣрный признакъ того, что въ обществѣ совершается великая работа мысли. Это идетъ выработка болѣе высокой нравственности.

Чѣмъ будетъ эта высшая нравственность, мы попытались указать, основываясь на изученіи человѣка и животныхъ. И мы отмѣтили ту нравственность, которая уже рисуется въ умахъ массъ и отдѣльныхъ мыслителей. Эта нравственность ничего не будетъ предписывать. Она совершенно откажется отъ искаженія индивида въ угоду какой-нибудь отвлеченной идеѣ, точно такъ же какъ откажется уродовать его при помощи религіи, закона, и послушанія правительству. Она предоставитъ человѣку полнѣйшую свободу. Она станетъ простымъ утвержденіемъ фактовъ — наукой.

И эта наука скажетъ людямъ: „Если ты не чувствуешь въ себѣ силы, если твоихъ силъ какъ разъ достаточно для поддержанія сѣренькой монотонной жизни, безъ сильныхъ ощущеній, безъ большихъ радостей, но и безъ большихъ страданій, — ну, тогда придерживайся простыхъ принциповъ равенства и справедливости. Въ отношеніяхъ къ другимъ людямъ, основанныхъ на равенствѣ, ты все же найдешь наибольшую сумму счастья, доступнаго тебѣ при твоихъ посредственныхъ силахъ.

„Но если ты чувствуешь въ себѣ силу юности, если ты хочешь *жить*, если ты хочешь наслаждаться жизнью: цѣльною, полною, бьющею черезъ край, если ты хочешь познать наивысшее наслажденіе, какого только можетъ пожелать живое существо, — будь силенъ, будь великъ, будь энергиченъ во всемъ, что бы ты ни дѣлалъ.

„Сѣй жизнь вокругъ себя. Замѣть, что обманывать, лгать, интриговать, хитрить—это значитъ унижать себя, мельчать, заранѣе признать себя слабымъ: такъ поступаютъ рабы, въ гаремѣ, чувствуя себя ниже своего господина. Чтожъ, — поступай такъ, если это тебѣ нравится; но за то знай заранѣе, что и люди будутъ считать тебя тѣмъже: маленькимъ, ничтожнымъ, слабымъ; такъ и будутъ они къ тебѣ относиться. Не видя твоей силы, они будутъ относиться къ тебѣ, въ лучшемъ случаѣ, какъ къ существу, которое заслуживаетъ снисхожденія— только снисхожденія. Не сваливай тогда своей вины на людей, если ты самъ такимъ образомъ надломилъ свою силу.

„Напротивъ того — будь сильнымъ. Какъ только ты увидишь неправду и какъ только ты поймешь ее, — неправду въ жизни, ложь въ наукѣ, или страданіе, причиняемое другому — возстань противъ этой неправды, этой лжи, этого неравенства. Вступи въ борьбу! Борьба, вѣдь это — жизнь; жизнь, тѣмъ болѣе кипучая, чѣмъ сильнѣе будетъ борьба. И тогда ты будешь жить, и за нѣсколько часовъ этой жизни ты не отдашь годовъ растительнаго прозябанія въ болотной гнили.

„Борись, чтобы дать всѣмъ возможность жить этою жизнью, богатою, бьющею черезъ край; и будь увѣренъ, что ты найдешь въ этой борьбѣ такія великія радости, что равныхъ имъ ты не встрѣтишь ни въ какой другой дѣятельности.

„Вотъ все, что можетъ сказать тебѣ наука о нравственности.

„Выборъ — въ твоихъ рукахъ“.

БИБЛІОТЕКА